И. А. БУНИНЪ

ВОСПОМИНАНІЯ

ВОЗРОЖДЕНІЕ

И. А. БУНИНЪ

ВОСПОМИНАНІЯ

ТОГО ЖЕ АВТОРА

Переводы в стихах:

ПѢСНЬ О ГАЙАВАТѢ ***Лонгфелло.***

ТРИ МИСТЕРІИ ***Байрона***
(Каин, Манфред, Небо и Земля).

Оригинальные стихи и проза:

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ в XI томах. Изд. «Петрополиса» в Берлинѣ.

ЛИКА, роман (продолженіе «Жизни Арсеньева»).

ОСВОБОЖДЕНІЕ ТОЛСТОГО, жизнь и ученіе.

И. А. БУНИНЪ

ВОСПОМИНАНІЯ



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЗРОЖДЕНІЕ — LA RENAISSANCE
73, Avenue des Champs Elysées
Парижъ

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ

Нѣкоторыя автобіографическія замѣтки, касающіяся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лѣт пятнадцать тому назад в собраніи моих сочиненій, изданном в Берлинѣ «Петрополисом».

Дополняю их нѣкоторыми новыми.

(Курсив всюду мой; дѣлая выписки из стихов и прозы с новой орфографіей, я даю их по старой).

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот безконечно давній день в нашей деревенской усадьбѣ в Орловской губерніи, когда я, мальчик лѣт восьми, вдруг почувствовал горячее, безпокойное желаніе немедленно сочинить что-то вродѣ стихов или сказки, будучи внезапно поражен тѣм, на что случайно наткнулся в какой-то книжкѣ с картинками: я увидал в ней картинку, изображавшую какія-то дикія горы, бѣлый холст водопада и какого-то приземистаго, толстаго мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, т. е. с зобом, стоявшаго под водопадом с длинной палкой в рукѣ, в небольшой шляпкѣ, похожей на женскую, с торчащим

сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим послѣдним словом, тогда еще, к счастью, неизвѣстным мнѣ: «*Встрѣча в горах с кретином*». Кретин! Не будь этого необыкновеннаго слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпкѣ вродѣ женской показался бы мнѣ, вѣроятно, только очень противным и больше ничего. Но кретин? В этом словѣ мнѣ почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волненіем. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случаѣ, можно подумать, будто нѣкій пророческій знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнѣйшей жизни пришлось мнѣ имѣть не мало и своих собственных встрѣч с кретинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих нѣкоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны и особенно тогда, когда та или иная мѣра кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь истерическими силами, — вѣдь, как извѣстно, и это бывает, было и будет во всѣх областях человѣческой жизни. Да что! Мнѣ, вообще, суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых на вѣки останутся во всемірной исторіи, — тѣх «величайших геніев человѣчества», что разрушали цѣлыя царства, истребляли милліоны человѣческих жизней.

Я родился в Воронежѣ, прожил в нем цѣлых три года, а кромѣ того провел однажды цѣлую ночь, но Воронеж мнѣ совсѣм неизвѣстен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видѣть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечерѣ в пользу этого землячества, прiѣхал в темные зимнiе сумерки, в метель, на вокзалѣ был встрѣчен с шампанским, не мало угощался и на вечерѣ и перед разсвѣтом был снова отвезен на вокзал к московскому поѣзду уже совсѣм хмѣльной. А тѣ три года, что я прожил в Воронежѣ, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имѣнiе. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое дѣтство, отрочество.

В тѣ годы уже завершалось преславутое дворянское «оскудѣнiе», — под таким заглавiем написал когда-то свою извѣстную книгу нынѣ забытый Терпигорев-Атава. Послѣ него называли послѣдним из тѣх, которые «воспѣвали» погибающiя дворянскiя гнѣзда, меня, а затѣм «воспѣл» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имѣвшiй весьма малое представленiе о дворянах помѣщиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всѣх поголовно плѣняющiй мнимой красотой своего «вишневаго сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замѣчательным русским писателям, но пьес его не люблю, мнѣ тут даже неловко за него, непрiятно вспоминать этого знаменитаго Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насажденiя лѣсов, какого-то Гаева, будто бы ужа-

снаго аристократа, для изображенія аристократизма котораго Станиславскій все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помѣщика с фамиліей прямо из Гоголя: Симіонов-Пищик. Я рос именно в «оскудѣвшем» дворянском гнѣздѣ. Это было глухое степное помѣстье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигдѣ не было в Россіи садов *сплошь* вишневых: в помѣщичьих садах бывали только *части* садов, иногда даже очень пространныя, гдѣ росли вишни, и нигдѣ эти части не могли быть, опять таки вопреки Чехову, *как раз возлѣ* господскаго дома, и ничего чудеснаго не было и нѣт в вишневых деревьях, совсѣм некрасивых, как извѣстно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цвѣточками в пору цвѣтѣнія (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цвѣтет как раз под самыми окнами господскаго дома в Художественном театрѣ); совсѣм невѣроятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходныя деревья с таким глупым нетерпѣніем, не давши их бывшей владѣлицѣ даже выѣхать из дому: рубить так поспѣшно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затѣм, что Чехов хотѣл дать возможность зрителям Художественнаго театра услыхать стук топоров, воочію увидѣть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавѣс: «Человѣка забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип стараго барскаго слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это дѣлают нѣкоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кѣм-

нибудь чепуху, будто бы играя на бильярдѣ: «Желтаго в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помѣщица и будто бы парижанка, то и дѣло истерически плачет и смѣется: «Какой изумительный сад! Бѣлыя массы цвѣтов, голубое небо! Дѣтская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (цѣлует шкап). Столик мой! О, мое дѣтство, чистота моя! (смѣется от радости). Бѣлый, весь бѣлый сад мой!» Дальше, — точно совсѣм из «Дяди Вани», — истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнѣе этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерній час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всѣм этим — студент Трофимов, в нѣкотором родѣ «Буревѣстник»: «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звѣздѣ, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Зарѣчная... Даже и это: подобныя фамиліи придумывают себѣ провинціальныя актрисы.

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразнаго: один извѣстный поэт, — он еще жив и мнѣ не хочется называть его, — разсказывал в своих стихах, что он шел «колосья пшена разбирая», тогда как такого растенія в природѣ никак не существует: существует, как извѣстно, просо, зерно котораго

и есть пшено, а колосья (точнѣе, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, опереніем сѣдую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно безшумную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетѣвшій лунь»), восторгался цвѣтеніемъ подорожника («подорожник весь в цвѣту!»), хотя подорожник, растущій на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цвѣтет; а что до дворянских помѣстій и владѣльцев их, то Гумилев изображал их уж совсѣм плохо: у него в этих помѣстьях —

Дома *косые двухъэтажные*
И *тут же* рига, скотный двор, —

а сами помѣщики и того удивительнѣе, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозавѣтному Титу Титычу: дочери ихъ будто бы пикнуть при них не смѣют и, принуждаемыя ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться гдѣ-нибудь в рѣчкѣ или в пруду. А совсѣм недавно один из видных совѣтских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лѣсу «*по дерну*» и «несет *в ягташѣ* золотую *лису*»: это так же правдоподобно, как если бы он нес в карманѣ собаку.

Кстати: почему свой театр Станиславскій и Немирович назвали «художественным» — как бы в отличіе от всѣх прочих театров? Развѣ художественность не должна быть во всяком

театрѣ — как и во всяком искусствѣ? Развѣ не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театрѣ быть художником и развѣ мало было и в Россіи, и во всѣх прочих странах актеров художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным Театром имени Горькаго. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, — вѣдь даже и донынѣ на его занавѣсѣ чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горькаго, автора лубочнаго и насквозь фальшиваго «Дна», и Станиславскій с Немировичем покорно приняли это приказаніе, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеуслышаніе всей Россіи, сказал Чехову: «Это — твой театр, Антон». Как Кремль умѣет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москвѣ в 1947 году — «Чехов в воспоминаніях современников», среди этих воспоминаній есть воспоминанія М. П. Чеховой, и между прочим такія слова ея: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексѣй Максимович Горькій, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здѣсь...» В послѣдніе годы Чехова я не только бывал, пріѣзжая в Ялту, каждый день в его домѣ, но иногда гостил в нем по недѣлям, с М. П. Чеховой был в отношеніях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмѣла даже упомянуть обо мнѣ, трусливо пишет полностью: «Алексѣй Максимович Горькій и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей совѣтской интеллигенціи мнѣніе, написав мнѣ в 1936 году: «Домик А. П. Чехова напоминает о славном

писателѣ нашей страны, и надо, чтобы многіе побывали в нем. Почитатель Чехова В. Молотов». Какія мудрыя и благосклонныя слова!

«Художественный театр имени Горькаго». Да что! Это капля в морѣ. Вся Россія, переименованная в СССР, покорно согласилась на самыя наглыя и идіотскія оскорбленія русской исторической жизни: город Великаго Петра дали Ленину, древній Нижній Новгород превратился в Город Горькій, древняя столица Тверского Удѣльнаго Княжества, Тверь, — в Калинин, в город какого-то ничтожнѣйшаго типографскаго наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграція отнеслась к этому с полнѣйшим равнодушіем, не придала этому ровно никакого значенія, — как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавшій ее писарской сердцещипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень вѣрно сказал Блок: «*У Есенина талант пошлости и кощунства*», в свое время обѣщал переименовать Россію Китежа в какую-то «Инонію», орал, раздирая гармонь:

Ненавижу дыханіе Китежа!
Обѣщаю вам Инонію!
Богу выщиплю бороду!
Молюсь ему матерщиною!

Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрѣній дивных свѣт —
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюму вам,
Что имя Ленина шумит, как вѣтр, по краю!

За что русская эмиграція все ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дѣло притворно рыдал, оплакивал свою горькую судбинушку, хотя послѣднее уж куда не ново, ибо какой «мальченка», отправляемый из одесскаго порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищеніем?

Я мать свою зарѣзал,
Отца сваво убил,
А младшую сестренку
Невинности лишил...

Простила и за то, что он — «самородок», хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:

Осточертѣли эти самые самородки
От сохи, от земли, от земледѣлія,
Довольно этой косоворотки и водки
И стихов с похмелія!
В сущности, не так уж много
Требуется, чтобы стать поэтами:
Запустить в Господа Бога
Тяжелыми предметами,
Расшвырять, сообразно со вкусами,
Письменныя принадлежности,
Тряхнуть кудрями русыми
И зарыдать от нѣжности...

Первые шаги Есенина на поэтическом поприщѣ извѣстны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавшій его, разсказал о

них наиболѣе точно: «Появился Есенин в Петербургѣ во время первой міровой войны и принят был в писательской средѣ с насмѣшливым удивленіем. Валенки, голубая шелковая рубашка с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: «Гдѣ уж нам, деревенщинѣ!» А за этим маскарадом — неистовый карьеризм, ненасытное самолюбіе и славолюбіе, ежеминутно готовое прорваться въ дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппіус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас за гетры такія?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву и там он быстро стал популярен, примкнув к «имажинистам». Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи, отелись», приступы маніи величія, Айседора Дункан, турнэ с ней по Европѣ и Америкѣ, неистовыя избіенія ея, возвращеніе в Россію, новыя женитьбы, новые скандалы, пьянство — и самоубійство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себѣ, — о том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего пріятеля Маріенгофа. Маріенгоф был пройдоха не меньше его, был величайшій негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнуснѣй которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин всетаки поучал его:

«Так, с бухты барахты, не слѣд лѣзть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри — Бѣлый: и волос уж сѣдой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень невредно

прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевкѣ, в рубашкѣ расшитой, как полотенце, с голинищами в гармошку. Всѣ на меня в лорнеты, — «ах, как замѣчательно, ах, как геніально!» — А я то краснѣю, как дѣвушка, никому в глаза не гляжу от робости.... Меня потом по салонам таскали, а я им пахабныя частушки распѣвал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с чернаго хода пришел,— не надо ли, мол, чего покрасить, — и давай кухаркѣ стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: гдѣ уж нам в горницу, креслица барину перепачкаю, пол вощеный наслѣжу... Барин предлагает садиться — Клюев опять ломается, мнется: да нѣт, мы постоим...»

Интересны были и воспоминанія Родіона Березова, его бывшаго пріятеля, напечатанныя в «Новом Русском Словѣ» в Нью Йоркѣ. Березов писал о Есенинѣ с умиленіем:

— Помнишь, Сережа, спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наѣзжал, — помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?

И Есенин отвѣчал:

— Все помню, братцы, вот что было в Нью Йоркѣ на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковыя, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой

головой, слегка выкрикивая концы строк и, конечно, не спроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «разудалая Русь»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимыя дали,
Первый раз я запѣл про любовь,
Первый раз отрекаюсь скандалить...

Чѣм тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который свое хулиганство уже давно сдѣлал выгодной профессіей, своим вѣчным бахвальством, как и многими прочими своими качествами?

Синій май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом вѣет полынь,
Спит черемуха в бѣлой накидкѣ...

Дѣло происходит в маѣ, в саду, — откуда же взялась полынь, запах которой, как извѣстно, сухой, острый, а вовсе не липкій, а если бы и был липкій, то не мог бы «вѣять»?

Дальше, несмотря на спящую черемуху, —

Сад полыхнет, как пѣнный пожар,
И луна, напрягая всѣ силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящаго слова «милый»...

Желаніе луны понятно, — недаром Бальмонт утверждал, что даже «каждая ящерица ищет щемящих ощущеній»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыни полыхающій

пѣнным пожаром сад и такая неистовая луна? А кончается все это так:

Только я в эту тишь, в эту гладь,
Под тальянку веселаго мая,
Не могу ничего пожелать,
Все, как есть, без конца принимая...

Тут май оказался уже веселым и даже тальянкой; но и это не бѣда: восхищаются...

Он любил пѣсню, разсказывал Березов: «Мы часто встрѣчались с ним в редакціи журнала «Красная Новь». Пѣсни он мог слушать вездѣ и всегда. Вот картинка: Есенин в черном котелкѣ и модном демисезонном пальто «раглан», в лаковых полуботинках, с тростью в лѣвой рукѣ, облакотившись на выступ книжнаго шкапа, слушает, а мы поем...» Рисовал Березов и другія «картинки» —как жил и как «творил» Есенин (игравшій и другія роли, уже не хулиганскія):

«Жил Есенин в Брюссовском переулкѣ в большом домѣ на восьмом этажѣ. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Галѣ Бениславской, которая стала его женой. Пріятныя, свѣтлыя обои, изящныя гравюры. На письменном столѣ порядок. На обѣденном, посреди комнаты, темная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стѣн кушетка с красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мѣшать и с утра уѣзжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из под его пера выливаются проникновенныя строки. Мы сидим у обѣденнаго стола, Есенин разсказывает нам о

своей поѣздкѣ в Америку, о мучительной тоскѣ, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной землѣ и увидѣл покорныя всѣм вѣтрам, стройныя березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот: «Груша, сходите за цвѣтами, купите самых красивых». Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновенія, он одѣвается по праздничному, как для обѣдни, и ставит на письменный стол цвѣты. Все его существо уже захвачено стихіей творчества. Мы уходим, навстрѣчу нам Груша с цвѣтами, а в это время Галя Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цвѣтам, голубым озерам и рощам за раба Божія Сергѣя и за его вдохновенное творчество...»

Я читал все это, чувствуя приступы тошноты. Нѣт, уж лучше Маяковскій! Тот, по крайней мѣрѣ, разсказывая о своей поѣздкѣ в Америку, просто «крыл» ее, не говорил подлых слов «о мучительной тоскѣ» за океаном, о слезах при видѣ березок...

О Есенинѣ была в свое время еще статья Владислава Ходасевича в «Современных Записках»: Ходасевич в этой статьѣ говорил, это у Есенина, в числѣ прочих способов обольщать дѣвиц, был и такой: он предлагал намѣченной им дѣвицѣ посмотрѣть разстрѣлы в Чека, — я, мол, для вас легко могу устроить это.. «Власть, Чека покровительствовали той бандѣ, которой Есенин был окружен, говорил Ходасевич: она

была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразіе в русскую литературу...»

Печататься я начал в концѣ восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившіеся через нѣсколько лѣт послѣ того, утверждали, что в тѣ годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сѣрѣть, ничего не знала кромѣ реализма, протокольнаго описыванія дѣйствительности... Но давно ли перед тѣм появились, напримѣр, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Пѣснь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшіеся тогда «Вечерніе огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать сѣрыми появлявшіяся в ту пору лучшія вещи Лѣскова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонатѣ»? И так ли уж были не новы — и по духу и по формѣ — как раз в то время выступившіе Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в серединѣ девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонскаго, не застал Гаршина, — его прекрасный человѣческій образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубійствѣ, развился бы несомнѣнно так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замѣчательнаго человѣка и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературѣ; застал Короленко,

написавшаго свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича,— видѣл его однажды в книжном магазинѣ Суворина: тут передо мной был уже легендарный человѣк; застал поэта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него и он называл меня своим юным другом... Но в тѣ годы была в Россіи уже в полном разгарѣ ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революціи босяческій пролетаріат. В это-то время и воцарился в литературѣ, в одном станѣ ея, Горькій, ловко подхватившій их надежды на босяка, автор «Челкаша», «Старухи Изергиль», — в этом разсказѣ какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и свѣтлое будущее», — такіе борцы вѣдь всегда пламенные, — вырвал из своей груди свое пылающее сердце, дабы бѣжать куда-то вперед, увлекая за собой человѣчество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакціи. А в другом станѣ уже славились Мережковскій, Гиппіус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссійская слава Надсона в тѣ годы уже кончилась, Минскій, его близкій друг, еще недавно призывавшій грозу революціи:

Пусть же гром ударит и в мое жилище,
Пусть я даже буду первый грома пищей! —

Минскій, всетаки не ставшій пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшебышевскаго, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсѣм не ин-

тересовались еще пролетаріатом: это уже гораздо позднѣе многіе из них запѣли подобно Минскому:

Пролетаріи всѣх стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть! —

подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом славянофилом, патріотом во время первой міровой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

Горе, горе! Умер Ленин!
Вот лежит он хладен, тлѣнен!

Вскорѣ послѣ нашего знакомства Брюсов читал мнѣ, лая в нос, ужасную чепуху:

О, плачьте,
О, плачьте
До радостных слез!
Высоко на мачтѣ
Мелькает матрос!

Лаял и другое, нѣчто уже совершенно удивительное — про восход мѣсяца, который, как извѣстно, называется еще и луною:

Всходит мѣсяц обнаженный
При лазоревой лунѣ!

Впослѣдствіи он стал писать гораздо вразумительнѣе, нѣсколько лѣт под ряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификаціи большого мастерства и разнообразія, хотя нерѣдко срывался и тогда в дикую сло-

весную неуклюжесть и полное свинство изображаемаго:

Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута
И двое мы...

Был он кромѣ того неизмѣнно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, безпощаднаго «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабѣть, превращаться в совершенно смѣхотворнаго стихоплета, помѣшаннаго на придумываніи необыкновенных рифм:

В годы Кука, давно славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный — и
Непотворный опыт был...

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппіус. Это было при мнѣ на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевскаго. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударѣ, читал свое первое стихотвореніе с такой самоупоенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовныя...

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам черный челн...

Гиппіус все время как то сонно смотрѣла на него в лорнет и, когда он кончил и всѣ еще молчали, медленно сказала:

— Первое стихотвореніе очень пошло, второе — непонятно.

Бальмонт налился кровью:

— Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего пониманія?

— Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, — раздѣльно отвѣтила Гиппіус.

Бальмонт стал подобен очковой змѣе:

— Поэт не изумился бы мѣщанкѣ, обратившейся к нему за разъясненіем его поэтическаго образа. Но когда поэту докучает мѣщанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнѣва. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливѣй!

— Но я ужасно рада, что вы не можете, отвѣтила Гиппіус.— Для меня было бы истинным несчастіем имѣть вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человѣк. Человѣк, иногда многих восхищавшій своей «дѣтскостью», неожиданным наивным смѣхом, который, однако, всегда был с нѣкоторой бѣсовской хитрецой, человѣк, в натурѣ котораго было не мало притворной нѣжности, «сладостности», выражаясь его языком, но не мало и совсѣм другого — дикаго буянства, звѣрской драчливости, площадной дерзости. Это был человѣк, который всю свою жизнь поистинѣ изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, увѣрен в себѣ до такой степени, что однажды вполнѣ простодушно напечатал свой разсказ о том, как

он был у Толстого, как читал ему свои стихи, и как Толстой помирал со смѣху, качаясь в качалкѣ: ничуть не смущенный этим смѣхом, Бальмонт закончил свой разсказ так:

— Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью разсказывал он немало и другого. Например, о том, как посѣтил он Метерлинка:

— Художественный театр готовился ставить «Синюю Птицу» и просил меня, ѣхавшаго как раз тогда заграницу, заѣхать в Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего созданія. Я с удовольствіем согласился, но у Метерлинка ожидало меня нѣчто весьма странное. Во-первых, звонил я въ его жилище чуть не цѣлый час, во-вторых, когда, наконец, дозвонился, мнѣ отворила какая-то мегера, загородившая мнѣ порог своей особой. И в-третьих, когда я всетаки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди — всего один стул, возлѣ стула стоит Метерлинк, а на стулѣ сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной увѣренности, что мое имя небезисвѣстно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мнѣ закипает страстное желаніе сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнѣв, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит попрежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычанія. «Будьте же добры, говорю я тогда достаточно рѣзко, соблаговолите мнѣ сказать, что вы думаете о постановкѣ вашего созданія?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не

думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бѣшенством разъяреннаго демона...

Разсказывал свое приключеніе на Мысѣ Доброй Надежды:

— Когда наш корабль, — Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», — бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, — тут Бальмонт опять таки не мог сказать, что он просто вышел за город,— я увидал род вигвама, заглянул в него и увидал в нем старуху, но все же прелстительную своей старостью и безобразіем, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вѣроятно, потому что я, владѣющій многими языками міра, не владѣю языком «зулю», эта вѣдьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бѣгством...

«Я, владѣющій многими языками міра...» Не один Бальмонт так безсовѣстно лгал о своем знаніи языков. Лгал, напримѣр, и Брюсов. Это, конечно, на основаніи того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книгѣ какого-то Мясникова («Поэзія Брюсова»), изданной в 1945 г. в Москвѣ: «Брюсов свободно владѣл французским и латинским языками, читал без словаря свободно по англійски, по итальянски, по нѣмецк, по гречески и отчасти по испански и по шведски, имѣл представленіе о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древно-еврейском, древно-египетском, арабском, древно-персидском и японском...» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпіон», С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов разсказал недавно в газетѣ «Русская Мысль», что этот Поляков «знал всѣ европей-

скіе языки и около дюжины восточных...» Вы только подумайте: всѣ европейскіе языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владѣл многими языками міра» очень плохо, даже самый простой разговор по французски был ему труден. Однажды в Парижѣ, в годы эмиграціи, он встрѣтился у меня с моим литературным агентом, американцем Брадлеем, и когда Брадлей заговорил с ним по англійски, покраснѣл, смѣшался, перешел на французскій язык, но и по французски путался, дѣлал грубыя ошибки... Как же всетаки сдѣлал он столько переводов с разных языков, даже с грузинскаго, с армянскаго? Вѣроятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, — очень несложная: в пустынѣ, в песках, лежит великая статуя, — только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, гдѣ вѣчность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнанія «языка зулю», проще говоря, зулусскаго, и печальных послѣдствій этого незнанія, то бывало множество столь же печальных послѣдствій и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему болѣе или менѣе извѣстных, только тут уже в силу пристрастія Бальмонта к восклицаніям: знаю, как нещадно били его — и не раз — лондонскіе полицейскіе в силу этого пристрастія, как однажды били его ночью полицейскіе в Парижѣ, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бѣшено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейскіе рѣшили, что это он кричит на них на парижском жаргонѣ воров и апашей, гдѣ слово «vache» (ко-

рова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще болѣе глупая, чѣм та, которой оскорбляли их в Россіи: «фараон». А при мнѣ было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним лѣтом под Одессой, в нѣмецком поселкѣ на берегу моря, пошли как то втроем, — он, писатель Федоров и я, — купаться, раздѣлись и уже хотѣли идти в воду, но тут, на бѣду, вылѣз из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесскаго порта, вѣчный острожник и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: — «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь» лѣниво смѣрил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючія прибрежныя заросли, из которых Бальмонт вылѣз весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человѣк, — человѣк, за всю свою долгую жизнь не сказавшій ни единаго словечка в простотѣ, называвшій в стихах даже тайныя прелести своих возлюбленных на рѣдкость скверно: «Зачарованный Грот».

И еще: при всем этом был он довольно разсчетливый человѣк. Когда-то в журналѣ Брюсова, в «Вѣсах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднѣе, когда времена измѣнились, стал вдруг милостив ко мнѣ, — сказал, прочитав мой разсказ «Господин из Сан-Франциско»:

— Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднѣе, в мои нобелевскіе дни, сравнил меня на одном собраніи в Парижѣ уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою

честь, в котором, конечно, и себя не забыл, — начал сонет так:

Я тигр, ты — лев!

Разсчетлив он был и политически.

В Москвѣ в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедія» и вот что сказано о нем в первом томѣ этой энциклопедіи:

«Бальмонт — один из вождей русскаго символизма... По окончаніи гимназіи поступил в московскій университет, откуда был исключен за участіе в студенческом движеніи. Но общественные интересы его очень скоро уступили мѣсто эстетизму и индивидуализму. Короткій рецедив революціонных настроеній в 1905 году и затѣм изданіе в Парижѣ сборника революціонных стихотвореній «Пѣсни мстителя» превратили Бальмонта в политическаго эмигранта. В Россію вернулся в 1913 г. послѣ царскаго манифеста. На имперіалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 г. опубликовал в журналѣ Наркомпроса стихотвореніе «Предвозвѣщенное», восторженно привѣтствуя Октябрьскую революцію. Выѣхав по командировкѣ Совѣтскаго правительства заграницу, перешел в лагерь бѣло-гвардейской эмиграціи... Смѣнив свое преклоненіе перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклоненіе перед извращенно-демоническим Бодлером, «пожелал стать пѣвцом страстей и преступленія», как сказал о нем Брюсов. В сонетѣ «Уроды» прославил «кривые кактусы, побѣги бѣлены и змѣй и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убійство и бѣду, Гоморру и Содом», восторженно привѣтствовал, как «брата», Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвѣщенное», которым, без сомнѣнія, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убійство и бѣду», встрѣтил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чѣм встрѣтил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевитской газетѣ «Новая Жизнь», — например, такія строки:

Кто не вѣрит в побѣду сознательных, смѣлых
рабочих,
Тот безчестный, тот шулер, ведет он двойную
игру!

Это так глупо и грубо в смыслѣ подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «безчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цвѣточки; а вот в «Пѣснях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нѣт: тут в стихах под заглавіем «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московскаго возстанія в концѣ 1905 года, можно прочесть слѣдующее:

Грубый солдат! Ты еще не постиг,
Кому же ты служишь лакеем?
Ты сопричислился — о, не на миг! —
К подлым, к безчестным, к злодѣям!
Я тебя видѣл в расцвѣтѣ души,
Встрѣчал тебя вольно красивым.
Низкій. Как пал ты! В трясинѣ! в глуши!
Труп ты — во гробѣ червивом!
Кровью ты залил свой жалкій мундир,
Душою ты в пропасти темной.
Проклят ты. Проклят тобою весь мір.
Нечисть! Убійца наемный!

Но и этого мало: дальше идут «пѣсни» о царѣ;

Наш царь — убожество слѣпое,
Тюрьма и кнут, подсуд, разстрѣл,
Царь висѣльник....
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет!
Ты был ничтожный человѣк,
Теперь ты грязный звѣрь!
Царь губошлепствует...
О мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя,
Нарыв уже набух, и, пухлый, ждет ножа.
Тѣснѣй, товарищи, сплотимтесь всѣ для боя,
Ухватим этого колючаго ежа!
Царь наш весь мерзостный, с лисьим хвостом,
С пастью, приличною волку,
К миру людей призывает — притом
Грабит весь мір втихомолку,
Грабит, кощунствует, ежится, лжет,
Жалко скулит, как щенята!
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,
Ты должен быть убит!

Все это было напечатано в 1907 году в Парижѣ, куда Бальмонт бѣжал послѣ разгрома московскаго возстанія, и ничуть не помѣшало ему вполнѣ безопасно вернуться в Россію. А Гржебин, начавшій еще до возстанія издавать в Петербургѣ иллюстрированный сатирическій журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человѣческим задом под императорской короной, даже и не бѣжал никуда и никто его и пальцем не тронул. Горькій бѣжал сперва в Америку, потом в Италію...

Мечтая о революціи, Короленко, благородная душа, вспоминал чьи-то милые стихи:

Пѣтухи поют на Святой Руси —
Скоро будет день на Святой Руси!

Андреев, изолгавшійся во всяческом пафосѣ, писал о ней Вересаеву:

«Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство. Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо побѣдит революція и соціалы, либо квашеная конституціонная капуста. Если революція, то это будет нѣчто умопомрачительно радостное, великое, небывалое, не только новая Россія, но новая земля!»

«И вот приходит еще один вѣстник к Іову и говорит ему: сыновья твои и дочери твои ѣли и пили вино в домѣ первороднаго брата твоего: и вот большой вѣтер пришел из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на них, и они умерли...»

«Нѣчто умопомрачительно радостное» наконец настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так:

«Русская революція продѣлана была зоологически».

Это было сказано еще в 1922 году и сказано не совсѣм справедливо: в мірѣ зоологическом никогда не бывает такого безсмысленнаго звѣрства, — звѣрства ради звѣрства, — какое бывает в мірѣ человѣческом и особенно во время революцій; звѣрь, гад дѣйствует всегда разумно, с практической цѣлью: жрет другого звѣря, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мѣшает ему в

существованіи, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубійствѣ, не упивается им, «как таковым», не издѣвается, не измывается над своей жертвой, как дѣлает это человѣк, — особенно тогда, когда он знает свою безнаказность, когда порой (как, например, во время революцій) это даже считается «священным гнѣвом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орденами вродѣ ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Краснаго Знамени»; нѣт в мірѣ зоологическом и такого скотскаго оплеванія, оскверненія, разрушенія прошлаго, нѣт «свѣтлаго будущаго», нѣт профессіональных устроителей всеобщаго счастья на землѣ и не длится будто бы ради этого счастья сказачное смертоубійство без всякаго перерыва цѣлыми десятилѣтіями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством милліонной арміи профессіональных убійц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов, — как та армія, что стала набираться в Россіи с первых дней царствія Ленина, Троцкаго, Джерзинскаго, и прославилась уже многими мѣняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

В концѣ девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой вѣтер из пустыни». И был он уже тлѣтворен в Россіи для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смѣну прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ея и были удивительно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Нѣкоторые прежніе еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все

росла. Аким Волынскій, видно, не даром объявил тогда: «Народилась в мірѣ новая мозговая линія!» И чуть не всѣ из тѣх новых, что были во главѣ новаго, от Горькаго до Сологуба, были люди от природы одаренные, надѣленные рѣдкой энергіей, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тѣх дней, когда уже близится «вѣтер из пустыни»: силы и способности почти всѣх новаторов были довольно низкаго качества, порочны от природы, смѣшаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улицѣ, с безстыдной жаждой успѣхов, скандалов...

Толстой немного позднѣе опредѣлил все это так:

«Удивительна дерзость и глупость нынѣшних новых писателей!»

Это время было временем уже рѣзкаго упадка в литературѣ нравов, чести, совѣсти, вкуса, ума, такта, мѣры... Розанов в то время очень кстати (и с гордостью) заявил однажды: «Литература — мои штаны, что хочу, то в них и дѣлаю...» Впослѣдствіи Блок писал в своем дневникѣ:

— Литературная среда смердит...

— Брюсову все еще не надоѣло ломаться, актерствовать, дѣлать мелкія гадости...

— Мережковскіе — хлыстовство...

— Статья Вячеслава Иванова душная и тяжелая...

— Всѣ ближайшіе люди на границѣ безумія, больны, расшатаны... Устал... Болен... Вечером напился... Ремизов, Гершензон — всѣ больны... У модернистов только завитки вокруг пустоты...

— Городецкій, пытающійся пророчить о какой-то Руси...

— Талант пошлости и кощунства у Есенина.

— Бѣлый не мужает, восторжен, ничего о жизни, все не из жизни...

— У Алексѣя Толстого все испорчено хулиганством, отсутствіем художественной мѣры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет безплодная смоковница...

— Вернисажи, «Бродячія собаки»...

Позднѣе писал Блок и о революціи, — например, в маѣ 1917 года:

— Старая русская власть опиралась на очень глубокія свойства русской жизни, которыя заложены в гораздо большем количествѣ русских людей, чѣм это принято думать по революціонному... Не мог сразу сдѣлаться революціонным народ, для котораго крушеніе старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революція предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки...

И в іюлѣ того же года писал о том же:

— Германскія деньги и агитація огромны... Ночь, на улицѣ галдеж, хохот...

Через нѣкоторое время он, как извѣстно, впал в нѣкій род помѣшательства на большевизмѣ, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революціи раньше. И я привел его сужденія о ней не с политической цѣлью, а затѣм, чтобы сказать, что та «револція», которая началась в девяностых годах в русской литературѣ, была тоже нѣкоторым «неожиданным чудом», и что в этой литературной революціи тоже было с самаго ея начала то хулиганство, то отсутствіе мѣры, тѣ трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексѣю Толстому, были и впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в свое время и сам Блок грѣшен

на счет этих «завитков», да еще каких! Андрей Бѣлый, употребляя для каждаго слова большую букву, называл Брюсова в своих писаніях «Тайным Рыцарем Жены, Облеченной в Солнце». А сам Блок, еще раньше Бѣлаго, в 1904 году, поднес Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

Законодателю русскаго стиха,
Кормщику в темном плащѣ,
Путеводной Зеленой Звѣздѣ, —

меж тѣм, как этот «Кормщик», «Зеленая звѣзда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облеченный в Солнце», был сыном мелкаго московскаго купца, торговавшаго пробками, жил на Цвѣтном бульварѣ в отеческом домѣ, и дом этот был настоящій уѣздный, третьей гильдіи купеческій, с воротами всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цѣпи во дворѣ. Познакомясь с Брюсовым, когда он был еще студентом, я увидѣл молодого человѣка, черноглазаго, с довольно толстой и тугой гостинодворческой и скуласто-азіатской физіономіей. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенціями, тоном поучительным, не допускающим возраженій. Все было в его словах крайне революціонно (в смыслѣ искусства), — да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал всѣ старыя книги до тла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрійскую библіотеку!» — воскликнул он. Но вмѣстѣ с тѣм для всего новаго уже были у него, этого «дерзателя, разрушителя», жесточайшіе,

непоколебимые правила, уставы, узаконенія, за малѣйшее отступленіе от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнатѣ на антресолях, была удивительная.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звѣзда...» Тогда и заглавія книг всѣх этих рыцарей и кормщиков были не менѣе удивительны: «Снѣжная маска», «Кубок метелей», «Змѣиные цвѣты»... Тогда, кромѣ того, ставили их, эти заглавія, непремѣнно на самом верху обложки в углу слѣва. И помню, как однажды Чехов, посмотрѣв на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

— Это для косых!

В моих воспоминаніях о Чеховѣ сказано кое-что о том, как вообще относился он и к «декадентам» и к Горькому, к Андрееву... Вот еще одно свидѣтельство в том-же родѣ.

Года три тому назад, — в 1947 году, — в Москвѣ издана книга под заглавіем «А. П. Чехов в воспоминаніях современников». В этой книгѣ напечатаны между прочим воспоминанія А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институтѣ и лѣтом 1902 года производил развѣдки на каменный уголь в уральском имѣніи Саввы Морозова, и вот Савва Морозов пріѣхал однажды в это имѣніе вмѣстѣ с Чеховым. Тут, говорит Тихонов, я провел нѣсколько дней в обществѣ Чехова и однажды имѣл с ним разговор о Горьком, об Андреевѣ. Я слышал, что Чехов любит и цѣнит Горькаго и со своей стороны не поскупился на похвалу автору «Буревѣстника», просто задыхался от восторженных междомѣтій и восклицательных знаков.

— Извините... Я не понимаю... — оборвал меня Чехов с непріятной вѣжливостью человѣка, которому наступили на ногу. — Я не понимаю, почему вы и вообще вся молодежь без ума от Горькаго? Вот вам всѣм нравится его «Буревѣстник», «Пѣснь о соколѣ»... Но вѣдь это не литература, а только набор громких слов...

От изумленія я обжегся глотком чая.

— Море смѣялось, — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенснэ. — Вы, конечно, в восторгѣ! Как замѣчательно! А вѣдь это — дешевка, лубок. Вот вы прочитали «море смѣялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нѣт же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так — море — и вдруг смѣется? Море не смѣется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... Никто не рыдает и не смѣется...

Длинными пальцами он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордѣева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиныя лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линіи, на одном героѣ построен, как шашлык на вертелѣ. И всѣ персонажи говорят одинаково, на «о»...

С Горьким мнѣ явно не повезло. Я попробовал отыграться на Художественном Театрѣ.

— Ничего, театр как театр,— опять погасил мои восторги Чехов. — По крайней мѣрѣ актеры роли знают. А Москвин даже талантливый... Вообще наши актеры еще очень некультурны...

Как утопающій за соломинку, я ухватился за

«декадентов», которых считал новым теченіем в литературѣ.

— Никаких декадентов нѣт и не было, — безжалостно доканал меня Чехов. — Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не вѣрьте. И ноги у них вовсе не «блѣдныя», а такія же как у всѣх — волосатыя...

Я упомянул об Андреевѣ: Чехов искоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

— Ну, какой же Леонид Андреев — писатель? Это просто помощник присяжнаго повѣреннаго, из тѣх, которые ужасно любят красиво говорить...

Мнѣ Чехов говорил о «декадентах» нѣсколько иначе, чѣм Тихонову, — не только как о жуликах:

— Какіе они декаденты! — говорил он, — они здоровеннѣйшіе мужики, их бы в арестантскія роты отдать...

Правда — почти всѣ были «жулики» и «здоровеннѣйшіе мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературныя способности) у «декадентов» времени Чехова и у тѣх, что увеличили их число и славились впослѣдствіи, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих,— у Горькаго, Андреева, позднѣе, например, у тщедушнаго, дохлаго от болѣзней Арцыбашева или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики,

юроды, помѣшанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смыслѣ этого слова? Всѣ они были хитры, отлично знали, что потребно для привлеченія к себѣ вниманія, но вѣдь обладает всѣми этими качествами и большинство истериков, юродов, помѣшанных. И вот: какое удивительное скопленіе нездоровых, ненормальных в той или иной формѣ, в той или иной степени было еще при Чеховѣ и как все росло оно в послѣдующіе годы! Чахоточная и совсѣм недаром писавшая от мужского имени Гиппіус, одержимый маніей величія Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкаго бѣса», иначе говоря патологическаго Передонова, пѣвец смерти и «отца» своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, — «кирпич в сюртукѣ», по опредѣленію Розанова, буйный «мистическій анархист» Чулков, изступленный Волынскій, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минскій; у Горькаго была болѣзненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сію книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, — нѣчто рѣдкое по напыщенности, по какой-то низкопробно ѣдкой ироніи над чѣм-то: Іегудіил Хламида, Нѣкто, Икс, Антином Исходящій, Самокритик Словотеков... Горькій оставил послѣ себя невѣроятное количество своих портретов всѣх возрастов вплоть до старости просто поразительных по количеству актерских поз и выраженій, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напруженными, поднятыми изо всѣх сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позѣ площадного агитатора; он был совершенно неистощимый говорун с не-

смѣтными по количеству и разнообразію гримасами, то опять таки страшно мрачными, то идіотски радостными, с закатываніем под самые волосы бровей и крупных лобных складок стараго широкоскулаго монгола; он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства, то нарочито без всякой мѣры грубаго, то романтически восторженнаго, без нелѣпой неумѣренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планетѣ!») и всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаніях: «Это — город, это — Нью Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающій ожирѣніем. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и желѣза; улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской желѣзной дороги огромные черви; локомотивы — жирныя утки...» Он был чудовищный графоман: в огромном томѣ какого-то Балухатова, изданном вскорѣ послѣ смерти Горькаго в Москвѣ под заглавіем: «Литературная работа Горькаго», сказано: «Мы еще не имѣем точнаго представленія о полном объемѣ всей писательской дѣятельности Горькаго: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведеній его...» А недавно я прочел в московском «Огонькѣ» слѣдующее: «Величайшій в мірѣ пролетарскій писатель Горькій намѣревался подарить нам еще много, много замѣчательных твореній; и нѣт сомнѣнія, что он сдѣлал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; око-

до *восьми тысяч* цѣннѣйших рукописей и матеріалов Горькаго бережно хранятся в архивѣ писателя при Институтѣ мiровой литературы Академіи наук СССР»... Таков был Горькій. А сколько было еще ненормальных! Цвѣтаева с ея непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей послѣ возвращенія в совѣтскую Россію; буйнѣйшій пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавшій в свирѣпое эротическое помѣшательство; морфинист и садистическій эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев... Про обезьяньи неистовства Бѣлаго и говорить нечего, про несчастнаго Блока — тоже: дѣд по отцу умер в психіатрической больницѣ, отец «со странностями на грани душевной болѣзни», мать «неоднократно лечилась в больницѣ для душевно-больных»; у самого Блока была с молодости жестокая цынга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страданія от вина и женщин, затѣм «тяжелая психостенія, а незадолго до смерти помраченіе разсудка и воспаленіе сердечных клапанов...» Умственная и душевная неуравновѣшенность, перемѣнчивость — рѣдкая: «гимназія отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он готовится в актеры, в первые университетскіе годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр, алых зорь, золотистых долин, цвѣтистых лугов»; затѣм он подражатель В. Соловьева, друг и соратник Бѣлаго, «возглавлявшаго мистическій кружок аргонавтов»; в 1905 году «идет в толпѣ с красным знаменем, однако вскорѣ совершенно охладѣвает к революціи...» В первую великую войну

он устраивается на фронтѣ чѣм то вродѣ земгусара, пріѣзжая в Петербург, говорит Гиппіус то о том, как на войнѣ «весело», то совсѣм другое — как там скучно, гадко, иногда увѣряет ее, что «всѣх жидов надо повѣсить»...

(Послѣднія строки взяты мною из «Синей книги» Гиппіус, из ея петербургских дневников, а все прочее относительно Блока — из біографических и автобіографических свѣдѣній о нем).

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болѣзнены. В так называемом Ленинградѣ издавался в концѣ двадцатых годов, «при ближайшем участіи Горькаго, Замятина и Чуковскаго» журнал «Русскій Современник», преслѣдовавшій, как сказано было в его программѣ, «только культурныя цѣли». И вот, в третьей книгѣ этого культурнаго журнала были напечатаны нѣкоторые «драгоцѣнные литературные матеріалы», среди же них нѣчто особенно драгоцѣнное, а именно:

«Замыслы, наброски и замѣтки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».

И впрямь — среди этих «замыслов» есть кое что замѣчательное, особенно один замысел о Христѣ. Сам Горькій относился к Христу тоже не совсѣм почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношеніи куда же было Горькому до Демьяна Бѣднаго, до Маяковскаго и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать не болѣе, не менѣе, как «Пьесу из жизни Іисуса». И вот что было в проспектѣ этой «пьесы»:

— Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

— Входит Іисус: не мужчина и не женщина.
— Фома (невѣрный!) — контролирует.
— Пришлось увѣровать: заставили и надули.
— Вложил персты и распространителем стал.
— А распространять заставили инквизицію, папство, икающих попов — и Учредилку...

Повѣрят ли почитатели «великаго поэта», в эти чудовищныя низости? А меж тѣм я выписываю буквально. Но дальше:

— Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на мѣстѣ.

— Апостолы воруют для Іисуса вишни, пшеницу.
— Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Канѣ Галилейской.
— Апостол брякнет, а Іисус разовьет.
— Нагорная проповѣдь: митинг.
— Власти безпокоятся. Іисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули...

А вот заключеніе конспекта этой «Пьесы»:
— Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по картѣ отмѣтила это маленькое мѣсто, гдѣ он ходил...

«Он» написан, конечно, с маленькой буквы...

В этой нелѣпости («а распространять заставили икающих попов — и Учредилку»), в богохульствѣ чисто клиническом (чего стоит одна это строка, — про апостола Петра, — «дурак Симон с отвисшей губой»), есть, разумѣется, нѣчто и от заразы, что была в воздухѣ того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революціонных времен, началось еще с самыми первыми дуновеніями «вѣтра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургію Мнѣ», то есть себѣ самому, молился

дьяволу: «Отец мой, Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей Собакѣ», гдѣ Ахматова сказала: «Всѣ мы грѣшницы тут, всѣ блудницы», поставлено было однажды «Бѣгство Богоматери с Младенцем в Египет», нѣкое «литургическое дѣйство», для котораго Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацію, костюмы, — «дѣйство», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спинѣ супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собакѣ» уже сидѣло не мало и будущих «большевиков»: Алексѣй Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным барином, помѣщиком, в енотовой шубѣ, в бобровой шапкѣ или в цилиндрѣ, стриженный а ла мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковскій в желтой кофтѣ, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабьими губами.... Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, — уже при большевиках, — будто бы так: с Евангеліем в одной рукѣ и с «Декамероном» Боккачіо в другой.

При большевиках всяческое кощунственное непотребство расцвѣло уже махровым цвѣтом. Мнѣ писали из Москвы еще лѣт тридцать тому назад:

«Стою в тѣсной толпѣ в трамвайном вагонѣ, кругом улыбающіяся рожи, «народ-богоносец» Достоевскаго любуется на картинки в журнальчикѣ «Безбожник»: там изображено, как глупыя бабы «причащаются»,— ѣдят кишки Христа,— изображен Бог Саваоф в пенснэ, хмуро читающій что то Демьяна Бѣднаго...»

Вѣроятно, это был «Новый завѣт без изъяна евангелиста Демьяна», бывшаго много лѣт одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев совѣтской Москвы.

Среди наиболѣе мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграціи эсеровская газета «Дни» разбирала собраніе разсказов этого Бабеля и нашла, что «его творчество не равноцѣнно»: «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда цѣлыя страницы — например, в разсказѣ «Сашка-Христос». Есть кромѣ того вещи, на которых нѣт отпечатка ни революціи, ни революціоннаго быта, как, например, в разсказѣ «Іисусов грѣх»... К сожалѣнію, говорила дальше газета, — хотя я не совсѣм понимал, о чем тут сожалѣть? — «к сожалѣнію, особо характерныя мѣста этого разсказа нельзя привести за предѣльной грубостью выраженій, а в цѣлом разсказ, думается, не имѣет себѣ равнаго даже в антирелигіозной совѣтской литературѣ по возмутительному тону и гнусности содержанія: дѣйствующія его лица — Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, даннаго ей Богом вмѣсто мужа, чтобы не так часто рожала...» Это был приговор, довольно суровый, хотя нѣсколько и несправедливый, ибо «революціонный» отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, с своей стороны, вспоминал тогда еще один разсказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуѣ Богоматери в каком-то католическом костелѣ, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ея, заслуживала уже плахи, тѣм болѣе, что Бабель был, кажется, вполнѣ здоров, нормален в обыч-

ном смыслѣ этих слов. А вот в числѣ ненормальных вспоминается еще нѣкій Хлѣбников.

Хлѣбникова, имя котораго было Виктор, хотя он перемѣнил его на какого-то Велимира, я иногда встрѣчал еще до революціи (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшійся хмельным. Теперь не только в Россіи, но иногда и в эмиграціи говорят и о его геніальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарныя залежи какого то дикаго художественнаго таланта были у него. Он слыл извѣстным футуристом, кромѣ того и сумасшедшим. Однако был-ли впрямь сумасшедшій? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшаго, спекулировал своим сумасшествіем. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских извѣстій из Москвы, я получил однажды письмо и о нем. Вот что было в этом письмѣ:

Когда Хлѣбников умер, о нем в Москвѣ писали без конца, читали лекціи, называли его геніем. На одном собраніи, посвященном памяти Хлѣбникова, его друг П. читал о нем свои воспоминанія. Он говорил, что давно считал Хлѣбникова величайшим человѣком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему матеріально: Хлѣбников, «благодаря своей житейской безпечности», крайне нуждался. Увы, всѣ попытки сблизиться с Хлѣбниковым оставались тщетны: «Хлѣбников был неприступен». Но вот однажды П. удалось таки вызвать Хлѣбникова к телефону. — «Я стал звать его к себѣ, Хлѣбников отвѣтил, что придет, но только попозднѣе, так как сейчас он блуждает среди гор, в вѣчных снѣгах, между

Лубянкой и Никольской. А затѣм слышу стук в дверь, отворяю и вижу: Хлѣбников!» — На другой день П. перевез Хлѣбникова к себѣ, и Хлѣбников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнатѣ одѣяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затѣм влѣз на него совсѣм голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», гдѣ главное — «мистическое число 317». Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскорѣ превратилась в хлѣв, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлѣбников был однако удачлив — его пріютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недѣли двѣ, Хлѣбников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлѣбников в восторгѣ помчался на вокзал. Но на вокзалѣ его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошеливаться, и Хлѣбников наконец уѣхал. Через нѣкоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно пріѣхать за Хлѣбниковым: иначе, писала она, Хлѣбников погибнет. П., разумѣется, полетѣл в Астрахань с первым же поѣздом. Пріѣхав туда ночью, нашел Хлѣбникова и тот тотчас повел его за город, в степь, а в степи стал говорить, что ему «удалось снестись с со всѣми 317-ю Предсѣдателями», что это великая важность для всего міра, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрел в город. Здѣсь он послѣ долгих поисков, уже совсѣм поздней ночью, нашел Хлѣбникова в каком-то кафэ. Увидѣв П., Хлѣбников опять

бросился на него с кулаками: — «Негодяй! Как ты смѣл воскреснуть! Ты должен был умереть! Я вѣдь уже снесся по всемірному радіо со всѣми Предсѣдателями и избран ими Предсѣдателем Земного Шара!» — С этих пор отношенія между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлѣбников был не дурак; возвратясь в Москву, вскорѣ нашел себѣ новаго мецената, извѣстнаго булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя всѣ его прихоти, и Хлѣбников поселился, по словам П., в роскошном номерѣ отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цвѣтистым самодѣльным плакатом: на этом плакатѣ было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Предсѣдатель Земного Шара. Принимает от двѣнадцати дня до половины двѣнадцатаго дня».

Очень лубочная игра в помѣшаннаго. А затѣм помѣшанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполнѣ разумными и выгодными:

Нѣт житья от господ!
Одолѣли, одолѣли!
Нас заѣли!
Знатных старух,
Стариков со звѣздой
Нагишом бы погнать,
Все господское стадо,
Что украинскій скот,
Толстых, сѣдых
Молодых и худых,
Нагишом бы все снять
И сановное стадо
И сановную знать

Голяком бы погнать,
Чтобы бич бы свистал,
В звѣздах гром громыхал!
Гдѣ пощада? Гдѣ пощада?
В одной парѣ с быком
Стариков со звѣздой
Повести голяком
И погнать босиком,
Пастухи чтобы шли
Со взведенным курком.
Одолѣли! Одолѣли!
Околѣли! Околѣли!

И дальше — от лица прачки:

Я бы на живодерню
На одной веревкѣ
Всѣх господ привела
Да потом по горлу
Провела, провела,
Я бѣлье мое всполосну, всполосну!
А потом господ
Полосну, полосну!
Крови лужица!
В глазах кружится!

У Блока, в «Двѣнадцати», тоже есть такое:

Уж я времячко
Проведу, проведу...
Уж я темечко
Почешу, почешу...
Уж я ножичком
Полосну, полосну!

Очень похоже на Хлѣбникова? Но вѣдь всѣ

революцiи, всѣ их «лозунги» однообразны до пошлости: один из главных — рѣжь попов, рѣжь господ! Так писал, например, еще Рылѣев:

Первый нож — на бояр, на вельмож,
Второй нож — на попов, на святош!

И вот что надо отмѣтить: какой «высокiй стиль» был в рѣчах политиков, в революцiонных призывах поэтов во время первой революцiи, затѣм перед началом второй! Был, например, в Москвѣ поэт Сергѣй Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал названiе «Гриф», стихи же писал в таком родѣ:

Возстань! Карай врагов страны,
Как острый серп срѣзает колос!
Вперед! Туда, гдѣ шум и крик,
Гдѣ плещут красныя знамена!
И когда горячей крови
Ширь полей вспоит волна,
Всколосись в зеленой нови,
Возрожденная страна!

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбѣжны. И еще примѣр: революцiонные стихи Максимилiана Волошина:

Народу русскому: я — грозный Ангел Мщенья!
Я в раны черныя, в распаханную новь
Кидаю сѣмена! Прошли вѣка терпѣнья,
И голос мой — набат! Хоругвь моя как кровь!

Зато, когда революція осуществляется, «высокій стиль» смѣняется самым низким, — взять хоть то, что я выписал из «Пѣсней мстителя». С воцареніем же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсѣм по хамски:

Сорвали мы корону
Со стараго Кремля!
За заборами низкорослыми
Гребем мы огненными веслами!

Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

Взяли мы в шапкѣ
Нахально сѣли,
Ногу на ногу задрав!
Исуса — на крест, а Варраву
Под руки — и по Тверскому!

Я был в Петербургѣ в послѣдній раз, — в послѣдній раз в жизни!— в началѣ апрѣля 17-го года, в дни пріѣзда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытіи выставки финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главѣ с нашими тогдашними министрами Временнаго Правительства, знаменитыми думскими депутатами и говорились финнам истерически-подобострастныя рѣчи. А затѣм я присутствовал на банкетѣ в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видѣл тогда в Петербургѣ, с тѣм гомерическим безобразіем, в которое вылился банкет! Собрались на него всѣ тѣ же, весь «цвѣт рус-

ской интеллигенціи», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные дѣятели, министры, депутаты и один высокій иностранный представитель, именно посол Франціи. Но надо всѣми возобладал Маяковскій. Я сидѣл за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковскій с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал ѣсть с наших тарелок и пить из наших бокалов; Галлен глядѣл на него во всѣ глаза — так, как глядѣл бы он, вѣроятно, на лошадь, если бы ее, напримѣр, ввели в эту банкетную залу. Горькій хохотал. Я отодвинулся.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил меня Маяковскій.

Я отвѣтил, что нѣт: «Слишком много чести было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для оффиціальнаго тоста Милюков, наш тогдашній министр иностранных дѣл, и Маяковскій кинулся к нему, к серединѣ стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что то, что Милюков опѣшил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковскій заорал пуще прежняго. И Милюков развел руками и сѣл. Но тут поднялся французскій посол. Очевидно, он был вполнѣ увѣрен, что уж перед ним-то русскій хулиган спасует. Как бы не так! Маяковскій мгновенно заглушил его еще болѣе зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и безсмысленное неистовство и в залѣ: сподвижники Маяковскаго тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг все покрыл истинно трагическій вопль какого-то финского худож-

ника, похожаго на бритаго моржа. Уже хмельной и смертельно блѣдный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему извѣстных:

— Много! Многоо! Многоо!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одисей в своих странствiях, намѣревался сожрать Одиссея. Маяковскаго еще в гимназiи пророчески прозвали Идiотом Полифемовичем. Маяковскiй и прочiе тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазiем. Маяковскiе казались нѣкоторое время только площадными шутами. Но не даром Маяковскiй назвал себя футуристом, то есть человѣком будущаго: он уже чуял, что полифемское будущее принадлежит несомнѣнно им, Маяковским, и что они, Маяковскiе, вскорѣ уж навсегда заткнут рот всѣм прочим трибунам еще великолѣпнѣе, чѣм сдѣлал он один на пиру в честь Финляндiи...

«Много»! Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событiй. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательскiя воспоминанiй. Не пришлось бы мнѣ пережить и то, что так нераздѣльно с ними: 1905 год, потом первую мiровую войну, вслѣд за нею 17-ый год и его продолженiе, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу Н о ю! Всего *один* потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствiе: цѣлых семь пар чистых и двѣ пары нечистых, а всетаки очень съѣдобных тварей. И вѣстник мiра, благоден-

ствія, голубь с оливковой вѣтвью в клювѣ, не обманул его, — не то что нынѣшніе голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Араратѣ, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном правѣдника, пригрѣтый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухѣ новой вселенской весны, в мірѣ, лишенном всей допотопной скверны, — не то что наш мір, возвратившійся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая исторія с сыном Хамом. Да вѣдь на то и был он Хам. А главное: вѣдь на весь мір был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

Весной того-же семнадцатаго года я видѣл князя Кропоткина, столь ужасно погибшаго в полифемском царствѣ Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократіи, в молодости был одним из наиболѣе приближенных к императору Александру Второму, затѣм бѣжал в Англію, гдѣ и прожил до русской февральской революціи, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москвѣ и весьма был тронут и удивлен при этом знакомствѣ: человѣк, столь знаменитый на всю Европу,— знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революціонера», знаменитый еще и как географ, путешественник и изслѣдователь восточной Сибири и полярных областей, — оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками бѣлых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговорѣ. в обращеніи. Живые, ясные

глаза, добрый, довѣрчивый взгляд, быстрая и мягкая великосвѣтская рѣчь — и это трогательное младенчество...

Он окружен был тогда всеобщим почетом и всяческими заботами о нем, он, революціонер, — хотя и весьма мирный, — возвратившійся на родину послѣ стольких лѣт разлуки с ней, был тогда гордостью февральской революціи, наконец-то «освободившей Россію от царизма», его поселили в чьем-то, уже не помню в чьем именно, барском особнякѣ на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы. В концѣ этого года шли собранія на этой квартирѣ Кропоткина «для обсужденія вопроса о созданіи Лиги Федералистов». Конец того года — что уже было тогда в Россіи? А вот русскіе интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем домѣ, в который уже превратилась тогда вся Россія.

Но что «Лига»! Дальше было вот что:

В мартѣ 1918 большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно перебрался на какую-то другую квартиру — и стал добиваться свиданія с Лениным: в преинаивнѣйшей надеждѣ заставить его раскаяться в том чудовищном террорѣ, который уже шел тогда в Россіи, и наконец добился свиданія. Он почему-то оказался «в добрых отношеніях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремлѣ это свиданіе. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношеніях» с этим рѣдким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, всетаки был. И мало того: пытался повернуть дѣянія Ленина «на путь гуманности». А потерпѣв неудачу,

«разочаровался» в Ленинѣ и говорил о своем свиданіи с ним, разводя руками:

— Я понял, что убѣждать этого человѣка в чем бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушеніе на него, допустил убить двѣ с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатлѣнія...

А затѣм, когда большевики согнали князя анархиста и с другой квартиры, «оказалось», что надо переселяться из Москвы в уѣздный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условіях, какія и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно милліон терзаній: муки от голода, муки от цынги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о кускѣ гнилого хлѣба... Старый, маленькій, несчастный князь мечтал раздобыть себѣ валенки. Но так и не раздобыл, — только напрасно истратил нѣсколько мѣсяцев, — мѣсяцев! — на полученіе ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свѣтѣ лучины, дописывая свое посмертное произведеніе «Об этикѣ»...

Можно ли придумать что-нибудь страшнѣе? Чуть ни вся жизнь, жизнь человѣка, бывшаго когда-то в особой близости к Александру Второму, была ухлопана на революціонныя мечты, на грезы об анархическом раѣ, — это среди нас-то, существ, еще не совсѣм твердо научившихся ходить на задних лапах! — и кончилась смертью в холодѣ, в голодѣ, при дымной лучинѣ, среди наконец-то осуществившейся революціи, *над рукописью о человѣческой этикѣ.*

РАХМАНИНОВ

При моей первой встрѣчѣ с ним в Ялтѣ произошло между нами нѣчто подобное тому, что бывало только в романтическіе годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить цѣлыя ночи в разговорах о прекрасном, вѣчном, о высоком искусствѣ. Впослѣдствіи, до его послѣдняго отъѣзда в Америку, встрѣчались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встрѣчу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встрѣчи наши были всегда случайны, чаще всего недолги и была, мнѣ кажется, вообще большая сдержанность в характерѣ моего высокаго друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обмѣнялись в большом обществѣ, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостиницѣ «Россія». Мы за ужином сидѣли рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том паденіи прозы и поэзіи, что совершалось

в то время в русской литературѣ, незамѣтно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигдѣ не было ни души, — сѣли на какіе то канаты, дыша их дегтряным запахом и этой какой-то совсѣм особой свѣжестью, что присуща только черноморской водѣ, и говорили, говорили все горячѣй и радостнѣе уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова... Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотвореніе Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку:

Я в гротѣ ждал тебя в урочный час.
Но день померк; главой качая сонной,
Заснули тополи, умолкли гальціоны:
Напрасно! Мѣсяц встал, сребрился и угас;
Рѣдѣла ночь; любовница Кефала,
Облокотясь на рдяныя врата
Младого дня, из кос своих роняла
Златые зерна перлов и опала
На синія долины и лѣса...

РѢПИН

Из художников я встрѣчался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Рѣпиным... Нестеров хотѣл написать меня за мою худобу святым, в том родѣ, как он их писал; я был польщен, но уклонился, — увидать себя в образѣ святого не всякій согласится. Рѣпин тоже удостоил меня — он однажды, когда я был в Петербургѣ с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ѣздить к нему на дачу в Финляндіи, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, — писал он мнѣ, — слышу милую вѣсть, что пріѣхал Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мнѣ его краски! — а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет котораго мечтаю написать: пріѣзжайте, милый, сговоримся и засядем за работу». Я с радостью поспѣшил к нему: вѣдь какая это была честь — быть написанным Рѣпиным! И вот пріѣзжаю, дивное утро, солнце и жестокій мороз, двор дачи Рѣпина, помѣшавшагося в ту пору на вегетаріанствѣ и на чистом воздухѣ, в глубоких снѣгах, а в домѣ — всѣ окна настежь; Рѣпин встрѣчает меня в валенках, в шубѣ, в мѣховой шапкѣ, цѣлует, обнимает, ведет в свою мастерскую, гдѣ тоже мороз, как на дворѣ, и говорит: «Вот тут я и буду вас

писать по утрам, а потом будем завтракать как Господ Бог велѣл: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тѣло, и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же пріѣду, но что сейчас должен немедля спѣшить назад, на вокзал, — страшно срочныя дѣла в Петербургѣ. И сейчас же вновь расцѣловался с хозяином и пустился со всѣх ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водкѣ, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаяніи, срочно вызван в Москву, уѣзжаю нынче же с первым поѣздом...

ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ

Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многіе русскіе могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человѣка развѣ — и в том числѣ я.

Я в Англіи до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонскій P. E. N. Club вздумал пригласить меня на нѣсколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня англійским писателям и нѣкоторым представителям англійскаго общества. Хлопоты на счет визы и расходы по поѣздкѣ клуб взял на себя — и вот я в Лондонѣ.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непремѣнно претерпѣвал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обѣды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающій, как геенна огненная, камин, а с другой — полярный холод!

Перед самым отъѣздом из Лондона я был в одном домѣ, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень пріятно, только так тѣсно, что стало даже жарко, и милые хозяева вдруг распахнули всѣ окна настежь, не взирая на то, что за ними валил снѣг. Я шутя закричал от страха и кинулся по лѣстницѣ спасаться в верхній этаж,

гдѣ тоже было много гостей, и на бѣгу услыхал за собой какія то радостныя восклицанія: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лѣстницѣ, медленно вошел в комнату среди почтительно разступившейся публики и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Так как оказалось, что он пришел только затѣм, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мнѣ. Он старомодно и как то простонародно подал мнѣ большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядѣл мнѣ в лицо.

— Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрѣшил себѣ маленькое отступленіе от правил, пришел на минутку — посмотрѣть какой вы, пожать вашу руку...

Это был плотный, очень крѣпкій и приземистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длиннополом черном сюртукѣ, в крахмальной рубашкѣ с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстуха, — настоящій старозавѣтный коммерсант или пастор.

Через нѣсколько минут он дѣйствительно ушел и навсегда оставил во мнѣ впечатлѣніе чего-то очень добротнаго и очень пріятнаго, но уж никак не юмориста, не писателя со всемірной славой.

ТОЛСТОЙ

Я чуть не с дѣтства жил в восхищеніи им. Мальчиком я уже имѣл нѣкоторое представленіе о нем, но не из чтенія его книг, а по разговорам у нас в домѣ. Между прочим, помню, что отец нерѣдко смѣялся, разсказывая, как читают «Войну и Мир» наши нѣкоторые сосѣди помѣщики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», то есть один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. В отрочествѣ чувства к Толстому были у меня уже не простыя. Отец говорил:

— Я его немного знал. Во время севастопольской кампаніи встрѣчал, играл с ним в карты в осажденном Севастополѣ...

И, помню, я на него смотрѣл с восторженным удивленіем: живого Толстого видѣл!

С той поры писатели были для меня уже существами какого-то совсѣм особаго рода, к которым я испытывал какое-то непередаваемое чувство, котораго я и до сих пор не умѣю опредѣлить, как не умѣю сказать, как, когда и почему я сам стал писателем. Отвѣтить на это для меня так же невозможно, как на то, с каких пор и как вообще я стал тѣм, что я есть. Когда-же (как-то само собою) рѣшилось, что мнѣ надлежит был только писателем, моей вто-

рой жизнью стала жизнь в том мірѣ, гдѣ поэты, писатели. Не помню, когда именно начал я читать Толстого и как случилось, что я выдѣлил его из прочих. Бывает, что человѣк открывает что-нибудь прекрасное и дорогое для него внезапно, с изумленіем. Этого со мной по отношенію к Толстому не было, такой минуты я не помню. Вообще то прекрасное, что я встрѣчал в дѣтствѣ, отрочествѣ, молодости, кажется, никогда не удивляло меня, — напротив, у меня было такое чувство, точно я знал его уже давно, так что мнѣ оставалось только радоваться встрѣчѣ с ним.

А затѣм долгіе годы я был по настоящему влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидѣть его на яву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поѣхать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? Раз я не выдержал, в один прекрасный лѣтній день внезапно осѣдлал своего верхового киргиза и закатился на Ефремов, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не больше ста верст. Но, доскакав до Ефремова, струсил, рѣшил обдумать дѣло серьезнѣе, переночевать в Ефремовѣ — и всю ночь не мог заснуть от волненія, от поминутной смѣны рѣшеній, ѣхать или не ѣхать, скитался всю ночь по городу и так устал, что, зайдя на разсвѣтѣ в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейкѣ, а проснувшись, и совсѣм протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой, гдѣ работники сказали мнѣ:

— Эх, барчук, барчук, и как только ухитрились вы так обработать киргиза за однѣ сутки! За кѣм это вы гонялись?

Послѣ того я напрасно «гонялся» за Толстым еще нѣсколько лѣт.

В молодости, плѣненный мечтами о чистой, здоровой и доброй жизни среди природы, собственными трудами, в простой одеждѣ, в братской дружбѣ не только со всѣми бѣдными и угнетенными людьми, но и со всѣм растительным и животным міром, главное же опять таки от влюбленности в Толстого, как художника, я стал толстовцем, — конечно, не без тайной надежды, что это даст мнѣ наконец уже как бы нѣсколько законное право увидѣть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушаніе».

Я жил тогда в Полтавѣ, гдѣ почему-то оказалось не мало толстовцев, с которыми я вскорѣ и сблизился. В общем это был совершенно несносный народ; но я терпѣл. Первый кого я узнал, был нѣкто Клопскій, человѣк довольно извѣстный в то время в нѣкоторых кругах и даже попавшій в герои нашумѣвшей тогда повѣсти Коронина «Учитель жизни». Это был высокій, худой человѣк в высоких сапогах и в блузѣ, с узким сѣрым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вѣчно всѣх поучавшій, наставлявшій, любившій ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями и вообще всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. Среди полтавских толстовцев был доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхожденію и по натурѣ большой барин, кое в чем походившій на Стиву Облонскаго. И вот, явившись в Полтаву, Клопскій первым дѣлом от-

правляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавскіе салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» цѣлью, как проповѣдника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и гдѣ Клопскій говорит, например, такія вещи:

— Да, да, вижу, как вы тут живете: лжете да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которыя уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся всѣ тѣ нелѣпости и мерзости, в которых тонет мір? Вот, скажем, ѣхал я сюда из Харькова; приходит человѣк, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «ваш билет». Я его спрашиваю: а что это значит, какой собственно билет? Отвѣчает: но билет, по которому вы ѣдете? А я ему опять свое: позвольте, я не по билету, а по рельсам ѣду. — Значит, говорит, у вас билета нѣту? — Конечно, говорю, нѣту. — В таком случаѣ мы вас на слѣдующей станціи высадим. — Прекрасно, говорю, это ваше дѣло, а мое дѣло ѣхать. На слѣдующей станціи дѣйствительно являются: пожалуйте выходить. Но зачѣм-же, говорю, выходить, мнѣ и тут хорошо. — Значит, вы выходить не желаете? — Разумѣется, нѣт. — Тогда мы вас выведем. — Выведете? Но я не пойду. — Тогда вытащим, вынесем. — Что же, выносите, это ваше дѣло. — И вот, меня, дѣйствительно, тащут: несут на руках, на диво всей почтенной публикѣ, два рослых бездѣльника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать...

Таков был этот в нѣкотором родѣ знаменитый Клопскій. Прочіе были не знамениты, но тоже хороши. Это были братья Д., сѣвшіе на землю под Полтавой, люди необыкновенно

скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затѣм нѣкто Леонтьев, щуплый и маленькій молодой человѣк болѣзненной, но рѣдкой красоты, бывшій паж, тоже мучившій себя мужицким трудом и тоже лгавшій и себѣ, и другим, что он очень счастлив этим, затѣм громадный еврей, похожій на матераго русскаго мужика, ставшій впослѣдствіи извѣстным под именем Теноромо, человѣк, державшійся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшійся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «ученіи», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мнѣ нужны были эти обручи? Для того опять таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мнѣ тайную надежду когда-нибудь увидать его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскорѣ совершенно неожиданно оправдалась. Вскорѣ вся братія смотрѣла на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом концѣ девяносто третьяго года — вдруг пригласил меня ѣхать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернію, к мужикам села Хилково, — принадлежавшаго извѣстному толстовцу князю Хилкову, — а затѣм в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествіе. Ѣхали мы в третьем классѣ, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболѣе простонародные, ѣли «безубойное», то есть чорт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бѣжал к буфету и с страшной жадностью глотал

одну за другой двѣ-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мнѣ:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владѣют мной, а я ими: я не раб их, хочу — ѣм, хочу — не ѣм...

Трудно было ѣхать потому больше всего, что я сгорал от нетерпѣнія поскорѣй попасть в Москву, нам-же, видите-ли, непремѣнно надо было ѣхать с плохими поѣздами, а кромѣ того пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общеніе с ними и «укрѣпить» и себя и их этим общеніем на путях «доброй» жизни. Мы так и сдѣлали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидѣл за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопѣнія, их разсказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоѣдскіе споры о Писаніи истинно всѣми силами души. Наконец, перваго января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсѣм забылся и брякнул: «С новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайшій нагоняй: что это значит — новый год, понимаю-ли я, какую старую безсмыслицу повторяю я? Однако не до того мнѣ было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущій вздор, — завтра вечером мы будем в Москвѣ, а послѣзавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидѣл меня: поѣхал к

Толстому вечером, сію же минуту послѣ того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: — «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу» — и убѣжал. А вернулся домой очень поздно и даже ничего не разсказал о своем визитѣ, только поспѣшно кинул мнѣ: «Я точно живой воды напился!» — при чем я совершенно безошибочно опредѣлил по запаху от него, что он, послѣ живой воды, пил еще и шамбертен, затѣм, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все таки предупредил, хотя я даже и на это мало надѣялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человѣк был этот, слегка женоподобный, полнѣющій, красивый брюнет. На другой день вечером я, внѣ себя, побѣжал наконец в Хамовники.

Как разсказать все послѣдующее?

Лунный морозный вечер. Добѣжал, стою и едва перевожу дыханіе. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снѣжный двор. В глубинѣ, налѣво, деревянный дом, нѣкоторыя окна котораго красновато освѣщены. Еще лѣвѣе, за домом, сад и над ним тихо играющія разноцвѣтными лучами сказочно-прелестныя зимнія звѣзды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значенія эти освѣщенныя окна: вѣдь за ними — Он, Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядѣть на этот дом и убѣжать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню.

Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохеньком фракѣ и свѣтлую прихожую, теплую, уютную, со множеством шуб на вѣшалках, среди которых рѣзко выдѣляется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лѣстница, крытая красным сукном. Правѣе, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном домѣ.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убѣгает наверх и, к моему удивленію, тотчас-же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбѣгает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу...

А в залѣ я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубинѣ его налѣво тотчас-же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка и из-за нея быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было двѣ-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, сѣдобородый, слегка как будто кривоногій, в широкой, мѣшковато сшитой блузѣ из сѣрой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкій, страшный, остроглазый, с наступленными бровями. И быстро идет прямо на меня, быстро (и немного присѣдая) подходит ко мнѣ, протягивает, вѣрнѣе, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и

какой-то вмѣстѣ с тѣм горестной, даже как-бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькіе глаза вовсе не страшные и не острые, а только по звѣриному зоркіе. Легкіе и жидкіе остатки сѣрых (на концах слегка завивающихся) волос по крестьянски раздѣлены на прямой пробор, очень большія уши сидят необычайно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видѣть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встрѣчался в Крыму? Вы что-же, надолго в Москву? Зачѣм? Ко мнѣ? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть цѣлью жизни... Садитесь пожалуйста и разскажите мнѣ о себѣ...

Он и заговорил так же поспѣшно, как вошел, мгновенно сдѣлав вид, будто не замѣтил моей полной потерянности, и торопясь вывести меня из нея, отвлечь от нея меня. Что он еще говорил? Все разспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не дѣлайте себѣ мундира из нея, во всякой жизни можно быть хорошим человѣком...

Мы сидѣли возлѣ маленькаго столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горѣла под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тѣни, я видѣл только очень мягкую сѣрую матерію его блузы да его крупную руку, к которой мнѣ хотѣлось припасть с восторженной, истинно сыновней нѣжностью, да слышал его старческій слегка альтовый голос с характерным звуком нѣсколько вы-

дающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: — из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сіяющая черным шелковым платьем, чудесно убранными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:

— Léon, — сказала она, ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы чуть виноватой улыбкой, с поднятыми бровями, глядя мнѣ прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свиданія, до свиданія, дай вам Бог, приходите ко мнѣ, когда опять будете в Москвѣ... Не ждите многаго от жизни, лучшаго времени, чѣм теперь, у вас не будет... Счастья в жизни нѣт, есть только зарницы его, — цѣните их, живите ими...

И я ушел, убѣжал, совершенно внѣ себя, и провел вполнѣ сумасшедшую ночь, непрерывно видѣл его во снѣ с такой разительной яркостью и в такой дикой путаницѣ, что и теперь вспомнить жутко, захватывал себя, просыпаясь, на том, что я что-то бормочу, брежу...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него нѣсколько ласковых отвѣтных писем. В одном из них он опять дал мнѣ понять, что не стоит мнѣ так уж стараться быть толстовцем, но я все не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», незаконно, без должнаго разрѣшенія продавать их на базарах, на ярмарках, за что и был судим и приговорен сидѣть в тюрьмѣ, — от которой меня спас, к моему тогдашнему большому горю, царскій манифест — затѣм завел

книжную лавку, полтавское отдѣленіе «Посредника», и так запутал счета, что порою примѣривался повѣситься. В концѣ концов я эту лавку просто бросил, уѣхал в Москву, но и там все еще пытался увѣрить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тѣх, что постоянно торчали в его помѣщеніи, наставляя друг друга на счет «доброй» жизни. Там-то я и видѣл его еще нѣсколько раз. Он туда иногда заходил, вѣрнѣе, забѣгал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не снимая полушубка, сидѣл час или два, со всѣх сторон окруженный братіей, серьезно дѣлавшей ему порою такіе вопросы: «Лев Николаевич, но что-же я должен был бы сдѣлать, если бы на меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущенно улыбался и говорил:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встрѣтил ни одного тигра...

Вспоминаю еще, как однажды сказал ему, желая сказать пріятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости.

Он слегка нахмурился:

— Какія общества?

— Общества трезвости...

— То есть, это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, не зачѣм собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмѣна дѣйствія видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, гдѣ я когда-то впервые сидѣл с ним возлѣ милой розовой лампы,

потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите, — отвѣтил старческій альтовый голос.

И я вошел и увидѣл низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумракѣ от желѣзнаго щитка над старинным подсвѣчником в двѣ свѣчи, кожаный диван возлѣ стола, на котором стоял этот подсвѣчник, а потом и его самого, с книжкой в руках. При моем входѣ он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мнѣ, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были мѣткіе, и я увидѣл, что читал он, то есть перечитывал (и, вѣрно, уже не в первый раз, как дѣлаем это и мы, грѣшные) свое собственное произведеніе, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищенія перед этой вещью, имѣл безтактность издать восторженное восклицаніе. А он покраснѣл, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, эта так ничтожно, что мнѣ по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое, точно из бронзы литое. Он очень страдал в тѣ дни — не задолго перед тѣм умер его семилѣтній Ваня. И послѣ «Хозяина и работника» он тотчас же заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нѣт, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскорѣ мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенній вѣтер, раздувая огни фонарей. Мы бѣжали наискось по снѣжному, бѣлому Дѣвичью Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспѣ-

вал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, рѣзко:

— Смерти нѣту, смерти нѣту!

В послѣдній раз я видѣл его лѣт через десять послѣ того. В страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенѣлыми окнами магазинов, шел по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бѣгущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстрѣчу мнѣ. Я остановился и сдернул шапку. Он тоже пріостановился и сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, надѣвайте, пожалуйста, надѣвайте шапку... Ну, как, что, гдѣ вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинѣло, что имѣло совсѣм несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его головѣ, было похоже на старушечій шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крѣпко и нѣжно нѣсколько раз пожал ею мою, опять глядя мнѣ в глаза горестно, с поднятыми бровями.

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свиданія...

1927 г.

ЧЕХОВ

I

Я познакомился с ним в Москвѣ, в концѣ девяносто пятаго года. Мнѣ запомнилось нѣсколько характерных фраз его.

— Вы много пишете? — спросил он меня как-то.

Я отвѣтил, что мало.

— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным голосом. — Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

— По-моему, написав разсказ, слѣдует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче надо писать.

Послѣ Москвы мы не видѣлись до весны девяносто девятаго года. Пріѣхав этой весной на нѣсколько дней в Ялту, я однажды вечером встрѣтил его на набережной.

— Почему вы не заходите ко мнѣ? — сказал он. — Непремѣнно приходите завтра.

— Когда? — спросил я.

— Утром, часу в восьмом.

И, вѣроятно, замѣтив на моем лицѣ удивленіе, он пояснил:

— Мы встаем рано. А вы?

— Я тоже, — сказал я.

— Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе? Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон.

Потом мы молча прошли набережную и сѣли в скверѣ на скамью.

— Любите вы море? — сказал я.

— Да, — отвѣтил он. — Только уж очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо, — сказал я.

— Не знаю, — отвѣтил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидѣть гдѣ-нибудь в людном мѣстѣ, слушать веселую музыку...

И, по своей манерѣ, помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описаніе моря читал я недавно в одной ученической тетрадкѣ? «Море было большое.» И только. По-моему, чудесно.

В Москвѣ я видѣл человѣка средних лѣт, высокаго, стройнаго, легкаго в движеніях; встрѣтил он меня привѣтливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность. В Ялтѣ я нашел его сильно измѣнившимся: он похудѣл, потемнѣл в лицѣ, двигался медленнѣе, голос его звучал глуше. Но, в общем, он был почти тот же, что в Москвѣ: привѣтлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще болѣе просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собесѣднику само-

му улавливать переходы в скрытом теченіи своих мыслей, и все глядѣл на море сквозь стекла пенснэ, слегка приподняв лицо. На другое утро послѣ встрѣчи на набережной я поѣхал к нему на дачу. Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садикѣ. С тѣх пор я начал бывать у него все чаще, а потом стал и совсѣм своим человѣком в его домѣ. Сообразно с этим измѣнилось и отношеніе его ко мнѣ, стало сердечнѣе, проще...

Бѣлая каменная дача в Аутѣ, ея маленькій садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любившій цвѣты, деревья, его кабинет, украшеніем котораго служили только двѣ-три картины Левитана да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину Учан-Су и синій треугольник моря, тѣ часы, дни, иногда даже недѣли, которыя проводил я на этой дачѣ, навсегда останутся памятны мнѣ...

Наединѣ со мной он часто смѣялся своим заразительным смѣхом, любил шутить, выдумывать разныя разности, нелѣпыя прозвища; как только ему хоть немного становилось лучше, он был неистощим на все на это. Любил разговоры о литературѣ. Говоря о ней, часто восхищался Мопассаном, Толстым. Особенно часто он говорил имено о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сдѣлать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хорошій, тогда бы и умереть можно!

Часто говорил:

— Никому не слѣдует читать своих вещей до напечатанія. Никогда не слѣдует слушать

ничьих совѣтов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебѣ. В работѣ надо быть смѣлым. Есть большія собаки и есть маленькія собаки, но маленькія не должны смущаться существованіем больших: всѣ обязаны лаять — и лаять тѣм голосом, какой Господь Бог дал.

Почти про всѣх умерших писателей говорят, что они радовались чужому успѣху, что они были чужды самолюбія. Но он дѣйствительно радовался всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успѣхам он относился с затаенной горечью.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи! Бранят человѣка двадцать пять лѣт на всѣ корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминія и цѣлый день несут над ним, со слезами и поцѣлуями, восторженную ахинею!

— Читали, Антон Павлович?— скажешь ему, увидав гдѣ-нибудь статью о нем.

Он только лукаво покосится поверх пенснэ:

— Покорно вас благадарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человѣк», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист?» Вѣдь из моих вещей самый любимый мой разсказ — «Студент». И слово-то противное: «пессимист...»

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, гдѣ-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грѣш-

ных: нас, как в бурсѣ, критики драли за малѣйшую провинность. Мнѣ один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человѣком, выгнанным из гимназіи за пьянство.

— Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, — сказал он однажды.

«Публикует «Скорпіон» о своей книгѣ неряшливо, — писал он мнѣ послѣ выхода первой книги «Сѣверных Цвѣтов». — Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявленіе в «Русских Вѣдомостях», поклялся больше уже никогда не водиться ни со скорпіонами, ни с крокодилами, ни с ужами.»

Он дал тогда, по моему настоянію, в альманах «Скорпіона» один из своих юношеских разсказов («В морѣ»). Впослѣдствіи в этом раскаивался:

— Нѣт, все это новое московское искусство — вздор, — говорил он. — Помню, в Таганрогѣ я видѣл вывѣску: «Заведеніе *искуственных* минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

Одно из моих послѣдних воспоминаній о нем относится к ранней веснѣ 1903 года. Ялта,

гостиница «Россія». Уж поздній вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу:

— Милсдарь, возьмите хорошаго извозчика и заѣзжайте за мной. Поѣдемте кататься.

— Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?

— Влюблен.

— Это хорошо, но уже десятый час. И потом — вы можете простудиться...

— Молодой человѣк, не разсуждайте-с!

Через десять минут я был в Ауткѣ. В домѣ, гдѣ он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горѣли двѣ свѣчки в кабинетѣ. И, как всегда, у меня сжалось сердце при видѣ этого кабинета, гдѣ для него протекло столько одиноких зимних вечеров.

— Чудесная ночь! — сказал он с необычайной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встрѣчая меня. — А дома — такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да кто-нибудь спросит, что я дѣлаю, а я отвѣчу: мышей ловлю. Поѣдемте в Оріанду.

Ночь была теплая, тихая, с ясным мѣсяцем, с легкими бѣлыми облаками. Экипаж катился по бѣлому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лѣс с легкими узорами тѣней, за ним зачернѣли толпы кипарисов, возносившихся к звѣздам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-блѣдных в лунном свѣтѣ развалин дворца, он внезапно сказал, пріостанавливаясь:

— Знаете, сколько лѣт еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну, семь с половиной.

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его лицо, блѣдное от луннаго свѣта.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкіе камешки, но, когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны, — отвѣтил он. — И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все-таки только семь лѣт, а жить мнѣ осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам...

Прожил он не шесть лѣт, а всего год с небольшим.

Одно из его послѣдних писем я получил в январѣ слѣдующаго года в Ниццѣ:

«Здравствуйте, милый И. А.! С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москвѣ все благополучно, новаго (кромѣ Новаго года) ничего нѣт и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет — неизвѣстно... Очень возможно, что в февралѣ я пріѣду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствіе, утѣшайтесь, пишите почаще Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых сѣверных компатріотов, страдающих несвареніем и дурным расположеніем духа. Цѣлую Вас и обнимаю.»

1904 г.

II

Однажды он сказал (по своему обыкновенію, внезапно):

— Знаете, какая раз была исторія со мной?

И, посмотрѣв нѣкоторое время в лицо мнѣ через пенснэ, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лѣстницѣ московскаго Благороднаго Собранія, а у зеркала, спиной ко мнѣ, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «Да, пойми-же ты, что ты теперь первый, первый писатель в Россіи!» — И вдруг видит в зеркалѣ меня, краснѣет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он...»

Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них:

— На семьдесять пять лѣт отстали в развитіи от русскаго общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбіем люди. Вот, напримѣр, вспоминаю Соловцова...

— Позвольте, — говорю я, — а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру послѣ его смерти?

— Мало-ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало-ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать...

И, помолчав, с новым смѣхом:

— И про Художественный театр...

В его записной книжкѣ есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, напримѣр, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смѣясь от всей души):

— Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нея под корсажем жабры?

Не раз говорил:

— В природѣ из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...

— Ужасно обѣдать каждый день с человѣком, который заикается и говорит глупости...

— Когда бездарная актриса ѣсть куропатку, мнѣ жаль куропатку, которая была во сто раз умнѣй и талантливѣй этой актрисы...

— Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сценѣ то же, что Виктор Крылов среди драматургов...

Иногда говорил:

— Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положеніи, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лѣни. Писателей надо отдавать в арестантскія роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбѣ, что был в молодости так бѣден! Как восхищался Давыдовой! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу». — «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случаѣ, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинетѣ на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутыл-

ки пива и выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мнѣ, что у вас готов разсказ».

А иногда говорил совсѣм другое:

— Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествіе вокруг свѣта на собственной яхтѣ, снарядить экспедицію к истокам Нила, к южному полюсу, в Тибет и Аравію, купить себѣ весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человѣку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю...

Говоря о Толстом, он как-то сказал:

— Чѣм я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрѣніем ко всѣм нам, прочим писателям, или лучше сказать, не презрѣніем, а тѣм, что он всѣх нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас, как на дѣтей. Наши повѣсти, разсказы, романы для него дѣтскія игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир — другое дѣло. Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не по-толстовски...

Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спѣша, без интонацій, сказал:

— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горькій и Чехов...

Теперь он выдѣлен. Но, думается, и до сих пор не понят как слѣдует: слишком своеобразный, сложный был он человѣк, душа скрытная.

Замѣчательная есть строка в его записной книжкѣ:

— Как я буду лежать в могилѣ один, так в сущности я и живу один.

В ту же записную книжку он занес такія мысли:

— Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вѣщателей, какое это стадо!

— На одного умнаго полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает.

Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нея он был только занятный разсказчик, автор «Винта», «Жалобной книги»... Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрѣли, — помню, как нѣкоторые из них искренно хохотали надо мной, юнцом, когда я осмѣлился сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такіе, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человѣка, начавшаго писать под именем Чехонте: «Нельзя представить себѣ, говорили они, чтобы Толстой или Тургенев рѣшились замѣнить свое имя такой пошлой кличкой».

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театрѣ. И, должно-быть, это было для него не менѣе обидно, чѣм то, что только послѣ «Мужиков» заговорили о нем: вѣдь и пьесы его далеко не лучшее из написаннаго им, а кромѣ того, это вѣдь значило, что вниманіе к нему привлек

театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запомнились: «22 несчастья», «глубокоуважаемый шкап», «человѣка забыли»... Он часто сам говорил:

— Какіе мы драматурги! Единственный, настоящій драматург — Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успѣх имѣть, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смѣхом:

— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспрѣ был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мнѣ, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцѣлуйте меня», и, поцѣловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: «А всетаки пьес ваших я терпѣть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «пѣвцом сумеречных настроеній», «больным талантом», человѣком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нѣжность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человѣку...» Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нѣжность»! Еще болѣе были бы противны ему «теплота», «грусть».

Говоря о нем, даже талантливые люди по-

рой берут невѣрный тон. Напримѣр, Елпатьевскій: «Я встрѣчал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям... Его всегда влекли к себѣ тихія долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами...» Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота и задушевность», приписывает ему «печаль о призраках». Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его безпощаднѣйшим талантом.

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное дѣйствовало на него рѣзко; сам он говорил прекрасно — всегда по своему, ясно, правильно. Писателя в его рѣчи не чувствовалось, сравненія, эпитеты он употреблял рѣдко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

К «высоким» словам чувствовал ненависть. Замѣчательное мѣсто есть в одних воспоминаніях о нем: «Однажды я пожаловался Антону Павловичу: «Антон Павлович, что мнѣ дѣлать? Меня рефлексія заѣла!» И Антон Павлович отвѣтил мнѣ: «А вы поменьше водки пейте.»

Вѣрно, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к неосторожному обращенію со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так рѣдко удовлетворялся он стихами:

— Это стоит всего Уреніуса, — сказал он однажды, вспомнив «Парус» Лермонтова.

— Какого Урениуса? — спросил я.
— А развѣ нѣт такого поэта?
— Нѣт.
— Ну, Упрудiуса, — сказал он серьезно.

— Вот умрет Толстой, все к чорту пойдет! — говорил он не раз.
— Литература?
— И литература.

Про московских «декадентов», как тогда называли их, он однажды сказал:

— Какiе они декаденты, они здоровеннѣйшiе мужики! Их бы в арестантскiя роты отдать...

Про Андреева тоже не лестно:

— Прочитаю страницу Андреева — надо послѣ того два часа гулять на свѣжем воздухѣ. удовольствiем, с которым он хохотал всегда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всѣми он был одинаков, никому не оказывал предпочтенiя, никого не заставлял страдать от самолюбiя, чувствовать себя забытым, лишним. И всѣх неизмѣнно держал на извѣстном разстоянiи от себя.

Чувство собственнаго достоинства, независимости было у него очень велико.

— Боюсь только Толстого. Вѣдь подумайте,

вѣдь это он написал, что Анна сама чувствовала, видѣла, как у нея блестят глаза в темнотѣ! — Серьезно, я его боюсь, — говорит он, смѣясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час рѣшал, в каких штанах поѣхать к Толстому. Сбросил пенснэ, помолодѣл и, мѣшая, по своему обыкновенію, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нѣт, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер!

И шел надѣвать другіе, и опять выходил, смѣясь:

— А эти шириной с Черное море! Подумает: нахал...

Однажды он, в небольшой компаніи близких людей, поѣхал в Алупку и завтракал там в ресторанѣ, был весел, много шутил. Вдруг из сидѣвших за сосѣдним столом поднялся какой-то господин с бокалом в рукѣ:

— Господа! Я предлагаю тост за присутствующаго среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, пѣвца сумеречных настроеній...

Поблѣднѣв, он встал и вышел.

Я подолгу живал в Ялтѣ и почти всѣ дни проводил у него. Часто я уѣзжал поздно вечером, и он говорил:

— Пріѣзжайте завтра пораньше.

Он на нѣкоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без

оттѣнков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно-ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенснэ, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на блѣдных губах, раздѣльно повторял:

— Ну, убѣдительнѣйше вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц... Будем говорить о литературѣ...

Я пріѣзжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинетѣ, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинціальной хроники темы для драм и водевилей». Иногда попадалось кое-что обо мнѣ, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спѣшил смягчить это:

— Обо мнѣ же еще глупѣе писали, обо мнѣ говорили еще злѣе, а то и совсѣм молчали...

Случалось, что во мнѣ находили «чеховское настроеніе». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо рѣзче меня. Вы вон пишете: «море пахнет арбузом»... Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку — другое дѣло...

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали разсказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннѣйшій почтовый поѣзд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясѣ стоит у окна вагона третьяго класса и вытряхивает из чайника мок-

рый чай. Чай летит по вѣтру в лицо толстаго господина, высунувшагося из другого окна...

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенснэ и принимался тихо и сладко хохотать.

— Что такое вы прочли?

— Самарскій купец Бабкин, — хохоча, отвѣчал он тонким голосом, — завѣщал все свое состояніе на памятник Гегелю.

— Вы шутите?

— Ей Богу, нѣт. Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

— Что вы обо мнѣ будете писать в своих воспоминаніях?

— Это вы будете обо мнѣ писать. Вы переживете меня.

— Да вы мнѣ в дѣти годитесь.

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повѣсть «Три года». А потом вы же здоровеннѣйшій мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитныя капли и будете жить сто лѣт. Я пропишу вам нынче же, я вѣдь доктор. Ко мнѣ сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его от геммороя вылечил. А в воспоминаніях обо мнѣ не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человѣк.»

— Это про меня писали, — говорил я, — писали, будто я симпатичное дарованіе.

Он принимался хохотать с тѣм мучительным удовольствіем, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

— Постойте, а как это про вас Короленко написал?

— Это не Короленко, а Златовратскій. Про

один из моих первых разсказов. Он написал, что этот разсказ «сдѣлал бы честь и болѣе крупному таланту.»

Он со смѣхом падал головой на колѣни, потом надѣвал пенснэ и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

— Все таки это лучше, чѣм про меня писали. Нас, как в бурсѣ, критики каждую субботу драли. И подѣлом. Я начал писать, как послѣднiй сукин сын. Я вѣдь пролетарiй. В дѣтствѣ, в нашей таганрогской лавочкѣ, я сальными свѣчами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все таки с наслажденiем заворачивал эту ледяную свѣчку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустырѣ, за версту от дома. Бывало, прибѣжишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно! — Только вот вам мой совѣт, — вдруг прибавлял он: — перестаньте быть диллетантом, сдѣлайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать — из-за куска хлѣба, но в нѣкоторой мѣрѣ обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновенья.

Потом, помолчав:

— А Короленкѣ надо женѣ измѣнить, обязательно, чтобы начать получше писать. А то он черезчур благороден. Помните, как вы мнѣ разсказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в «Русском Богатствѣ» какого-то Вербова или Вѣткова, гдѣ описывались «волки реакцiи», обступившiе пѣвца, народнаго поэта, в полѣ, в страшную мятель, и то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхѣ разбѣжались? Это вы правду разсказывали?

— Честное слово, правду.

— А кстати: вы знаете, что в Перми всѣ извозчики похожи на Добролюбова?

— Вы не любите Добролюбова?

— Нѣт, люблю. Это же порядочные были люди. Не то, что Скабичевскій, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня «искры Божьей нѣт.»

— Вы знаете, — говорил я, — мнѣ Скабичевскій сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

— Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про разсказы из народнаго быта писал... Да, страшно вспомнить, что обо мнѣ писали! И кровь-то у меня холодная, — помните у меня разсказ «Холодная кровь»? — и изображать-то мнѣ рѣшительно все равно что именно — собаку или утопленника, поѣзд или первую любовь... Меня еще спасали «Хмурые люди», находили, что это разсказы все таки стоющіе, потому что там будто-бы изображена реакція восьмидесятых годов. Да еще разсказ «Припадок» — там «честный» студент с ума сходит при мысли о проституціи. А я русских студентов терпѣть не могу — они же лодыри...

Раз, когда он опять как то стал шутя приставать ко мнѣ, что именно напишу я о нем в своих воспоминаніях, я отвѣтил:

— Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москвѣ. Это было в девяносто пятом году, в декабрѣ. Я не знал, что вы пріѣхали в Москву. Но вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском,

пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лѣстницѣ продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто на вѣшалкѣ искать. Швейцар ему нѣжно: «Позвольте, господин, я сам найду...» Поэт на него звѣрем: «Молчать, не мѣшай!» — «Но, позвольте, господин, это не ваше пальто...» «Как, негодяй? Значит я чужое пальто беру?» — «Так точно, чужое-с». — «Молчать, негодяй, это мое пальто!» — «Да нѣт же, господин, это не ваше пальто!» — «Тогда говори сію же минуту, чье?» — «Антона Павловича Чехова». — «Врешь, я убью тебя за эту ложь на мѣстѣ!» — «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». — «Так, значит, он здѣсь?» — «Всегда у нас останавливаются...» И вот, мы чуть не кинулись к вам знакомиться в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали — видѣли только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столѣ. Это было начало «Бабьяго царства».

Он помирал со смѣху и говорил;

— Кто этот поэт, догадываюсь. Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столѣ? Значит, подсмотрѣли?

— Простите, дорогой, не удержались.

— А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

Необыкновенно радовался он однажды, когда я разсказал ему, что наш сельскій дьякон до крупинки съѣл как-то, на именинах моего отца, фунта два икры. Этой исторіей он начал свою повѣсть «В оврагѣ».

Он любил повторять, что если человѣк не работает, не живет постоянно в художественной атмосферѣ, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенснэ, мотал ею в воздухѣ:

— Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?

Иногда он разрѣшал себѣ вечернія прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, — за послѣдніе дни много смочил платков кровью,— молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной котораго свѣт и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Ауткѣ, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумленія, а он быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убійствѣ Бунина!

Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»

— Ах, что вы, что вы! — воскликнул он. — Это же чудесно — плохо начать! Поймите же, что, если у начинающаго писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созрѣвают только люди способные, то-есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность равняется умѣнью приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявленія себя.

По берегам Чернаго моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смѣшанное с презрѣніем, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищеніем сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.

Он мало ѣл, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на дѣвичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малѣйшей поблажки не давал он себѣ в одеждѣ.

Руки у него были большія, сухія, пріятныя.

Как почти всѣ, кто много думает, он нерѣдко забывал то, что уже не раз говорил.

Помню его молчаніе, покашливаніе, прикрываніе глаз, думу на лицѣ, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».

Крымскій зимній день, сѣрый, прохладный, сонныя густыя облака на Яйлѣ. В чеховском домѣ тихо, мѣрный стук будильника из комнаты Евгеніи Яковлевны. Он, без пенснэ, сидит в кабинетѣ за письменным столом, не спѣша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надѣвает пальто, шляпу, кожанныя мелкія калоши, уходит куда-то, гдѣ стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугрѣ. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодыя деревца, идет к скамеечкѣ среди сада. За ним бѣжит журавль, двѣ собачонки. Сѣв, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмѣхается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамьѣ, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора...

Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нѣт.

«Любовь, — писал он в своей записной книжкѣ, — это или остаток чего-то вырождающагося, бывшаго когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нѣчто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чѣм ждешь.»

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что безсмертіе, жизнь послѣ смерти в какой-бы то ни было формѣ — сущій вздор:

— Это суевѣріе. А всякое суевѣріе ужасно. Надо мыслить ясно и смѣло. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что безсмертіе — вздор.

Но потом нѣсколько раз еще тверже говорил противоположное:

— Ни в коем случаѣ не можем мы исчезнуть без слѣда. Обязательно будем жить послѣ смерти. Безсмертіе — факт. Вот погодите, я докажу вам это...

Послѣднее время часто мечтал вслух:

— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым мѣстам, поселиться в монастырѣ среди лѣса, у озера, сидѣть лѣтним вечером на лавочкѣ возлѣ монастырских ворот...

Его «Архіерей» прошел незамѣченным — не то что «Вишневый сад» с большими бумажными цвѣтами, невѣроятно густо бѣлѣвшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Винта», «Мужиков», Художественнаго театра!

«Через мѣсяц был назначен новый викарный архіерей, а о преосвященном Петрѣ уже никто не вспоминал. А потом и совсѣм забыли. И только старуха, мать покойнаго, которая живетъ те-

перь в глухом уѣздном городишкѣ, когда выходила под вечер, чтобы встрѣтить свою корову, и сходилась на выгонѣ с другими женщинами, то начинала разсказывать о дѣтях, о внуках, о том, что у нея был сын архіерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не повѣрят... И ей в самом дѣлѣ не всѣ вѣрили...»

Послѣднее письмо я получил от него из-заграницы, в серединѣ іюня 1904 года, живя в деревнѣ. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себѣ бѣлый костюм, огорчается только за Японію, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россія. Четвертаго іюля я поѣхал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркій и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным вѣтром. Я развернул газету, сидя на порогѣ кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула мнѣ по сердцу...

Смерть его ускорила простуда. Перед отъѣздом из Москвы заграницу он пошел в баню и, вымывшись, одѣлся и вышел слишком рано: встрѣтился в предбанникѣ с Сергѣенко и бѣжал от него, от его навязчивости, болтливости...

Это тот самый Сергѣенко, который много лѣт надоѣдал Толстому («Как живет и работает Толстой») и котораго Чехов, за его худобу и длинный рост, неизмѣнный черный костюм и черные волосы, называл так:

— Погребальныя дроги стоймя.

1914 г.

Года полтора назад я публично читал в Парижѣ мои литературныя воспоминанія и, оговорившись, что считаю Чехова одним из самых замѣчательных русских писателей, позволил себѣ сказать, что не люблю его пьес, что онѣ, по моему, всѣ очень плохи и что ему не слѣдовало бы писать пьесы из дворянскаго быта, котораго он не знал. Это вызвало во многих негодованіе против меня, обиды. Е. Д. Кускова написала по поводу этих воспоминаній два больших фельетона в «Новом Русском Словѣ». «В Женевѣ, писала она, и старики, и молодые обидѣлись на Бунина за Чехова, за Бальмонта, за Горькаго... Этих писателей любят и сейчас, Чеховым зачитываются, хотя, казалось бы, эта старая, унылая Русь с ея нытиками ушла в прошлое...» Вот это было уже подлинное оскорбленіе Чехова — низводить его до бытописателя «старой, унылой Руси». Вот на Е. Д. Кускову слѣдовало бы оскорбиться весьма основательно, а женевским «старикам» не мѣшало бы помнить, что Горкій называл их, русских интеллигентов, со свойственной ему гадкой грубостью, «чуланом с тухлой провизіей». Слѣдовало бы обидѣться еще и на знаменитую артистку Ермолову. Среди ея опубликованных писем есть между прочим такое письмо к ея другу, ялтинскому доктору Середину: «Вы спрашивайте, отчего мнѣ не нравится повѣсть Чехова «В оврагѣ»? Но потому, что чеховщина есть для меня символ безпросвѣтной тьмы, всевозможных болѣзней и печали». Зато Горькаго считала «милой, свѣтлой личностью» и просила Середина: «Вы с Горьким близки, не давайте ему сбиваться с этой свѣтлой нотки, которая так сильно звучит в его произведеніях...» Чита-

ешь и глазам своим не вѣришь! «В оврагѣ» одно из самых прекрасных во всѣх отношеніях созданій русской литературы, но для Ермоловой это «чеховщина, символ безпросвѣтной тьмы», зато Горькій — «милая, свѣтлая личность», у него, написавшаго великое множество нарочито грязных злобных, мрачных вещей, «сильно» звучала, оказывается, «свѣтлая нотка»!

1950 г.

ШАЛЯПИН

В Москвѣ когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славѣ: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературѣ, а желаніем слыть не только знаменитым пѣвцом, но и «передовым, идейным человѣком»,— пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во всѣ времена и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Но мнѣ кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотѣл он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мнѣ об этом. Я наконец спросил:

— Да за чѣм же дѣло стало?

— За тѣм, — отвѣчал он, — что Чехов нигдѣ не показывается, все нѣт случая представиться ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поѣзжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кромѣ того, я знаю, что я так оробѣю перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как нибудь к нему...

Я не замедлил сдѣлать это и убѣдился, что

все была правда: войдя к Чехову, он покраснѣл до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторгѣ:

— Ты не повѣришь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человѣк, вот это писатель! Теперь на всѣх прочих буду смотрѣть как на верблюдов.

— Спасибо, — сказал я, смѣясь.

Он захохотал на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка, — знаменитая потому, что она, в видѣ открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров,— та, на которой сняты Андреев, Горькій, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московскій нѣмецкій ресторан «Альпійская роза», завтракали долго и весело и вдруг рѣшили ѣхать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

— Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обидѣлся:

— Почему же это свадьба да еще собачья? — отвѣтил он своим грубо-наигранным басом. — Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другіе считают себя.

— А как же это назвать иначе? — сказал я. — Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россія гибнет, в ней «всякія напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «рѣет буревѣстник, черной молніи подобен», а что в Москвѣ, в Петербургѣ? День и

ночь праздник, всероссійское событіе за событіем: новый сборник «Знанія», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театрѣ, премьера в Большом театрѣ, курсистки падают в обморок при видѣ Станиславскаго и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрѣльну...

Дѣло могло перейти в ссору, но тут поднялся общій смѣх. Шаляпин закричал:

— Браво, правильно! А всетаки айда, братцы, увѣковѣчивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что нибудь потомству оставить послѣ себя. А то пѣл, пѣл человѣк, а помер и крышка ему.

— Да, — подхватил Горькій, — писал, писал — и околѣл.

— Как, напримѣр, я, — сумрачно сказал Андреев. — Околѣю в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмѣивались. Но так оно и вышло.

Всѣ считали Шаляпина очень лѣвым, ревѣли от восторга, когда он пѣл «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нѣчто революціонное, сатанинское, издѣвательство над королями:

Жил был король когда-то,
При нем блоха жила...

И что-же вдруг случилось? Сатана стал на колѣни перед королем, — по всей Россіи прокатился слух: Шаляпин стал на колѣни перед царем! Толкам об этом, возмущенію Шаляпиным не было конца-краю. И сколько раз потом

оправдывался Шаляпин в этом своем прегрѣшеніи!

— А как же мнѣ было не стать на колѣни? — говорил он. — Был бенефис императорскаго опернаго хора, вот хор и рѣшил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавкѣ жалованья, воспользоваться присутствіем царя на спектаклѣ и стать перед ним на колѣни. И обратился и стал. И что-же мнѣ, тоже пѣвшему среди хора, было дѣлать? Я никак не ожидал этого колѣнопреклоненія, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сценѣ, всѣ оказались на колѣнях, протягивая руки к царской ложѣ! Что же мнѣ было дѣлать? Одному торчать над всѣм хором телеграфным столбом? Вѣдь это же был-бы форменный скандал!

В Россіи я его видѣл в послѣдній раз в началѣ апрѣля 1917 года, в дни, когда уже пріѣхал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербургѣ и вмѣстѣ с Шаляпиным получил приглашеніе от Горькаго присутствовать на торжественном сборищѣ в Михайловском театрѣ, гдѣ Горькій должен был держать рѣчь по поводу учрежденія им какой-то «Академіи свободных наук». Не понимаю, не помню, почему, мы с Шаляпиным получили приглашеніе на это во всѣх смыслах нелѣпое сборище. Горькій держал свою рѣчь весьма долго, высокопарно и затѣм объявил:

— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их привѣтствовать!

Зал стал бѣшено апплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы,

как вдруг кто-то прибѣжал вслѣд за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пѣл. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колѣни». Но он рѣшительно сказал прибѣжавшему:

— Я не пожарный, чтобы лѣзть на крышу по первому требованію. Так и объявите в залѣ.

Прибѣжавшій скрылся, а Шаляпин сказал мнѣ, разводя руками:

— Вот, брат, какое дѣло: и пѣть нельзя и не пѣть нельзя, — вѣдь в свое время вспомнят, на фонарѣ повѣсят, черти. А все-таки пѣть я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. За то в концѣ концов ухитрился сбѣжать от них.

В іюнѣ 37-го года я слушал его в послѣдній раз в Парижѣ. Он давал концерт, пѣл то один, то с хором Афонскаго. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всѣх своих выступленіях, — это дѣло обычное: я видѣл, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видѣл за кулисами послѣ сыгранной роли Ленскаго и даже самого Росси, — войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в нѣкоторой мѣрѣ бывало, вѣроятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом послѣднем концертѣ она видѣла, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонацій. Из-за кулис он прислал мнѣ записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял блѣдный,

в поту, держа папиросу в дрожащей рукѣ, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сдѣлал бы):

— Ну что, как я пѣл?

— Конечно, превосходно, — отвѣтил я. И пошутил: — Так хорошо, что я все время подпѣвал тебѣ и очень возмущал этим публику.

— Спасибо, милый, пожалуйста подпѣвай,— отвѣтил он со смутной улыбкой. — Мнѣ, знаешь, очень нездоровится, на днях уѣзжаю отдыхать в горы, в Австрію. Горы — это, брат, первое дѣло. А ты на лѣто куда?

Я опять пошутил:

— Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень разсѣянно.

Ради чего дал он этот послѣдній концерт? Ради того, вѣроятно, что чувствовал себя на исходѣ и хотѣл проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пѣл с благотворительными цѣлями, любил говорить:

— Безплатно только птички поют.

В послѣдній раз я видѣл его мѣсяца за полтора до его кончины,— навѣстил его, больного, вмѣстѣ с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненнаго и актерскаго блеска было в нем еще много. Он сидѣл в креслѣ в углу столовой, возлѣ горѣвшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халатѣ, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолѣпный, как старѣющій лев. Такого породистаго величія я в

нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая сѣверно-русская, что была в Ломоносовѣ, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все мѣнялся и мѣнялся.

Толстой, в первый раз послушав его пѣніе, сказал:

— Нѣт, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренно убѣжденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусствѣ, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в сторонѣ; но как же всетаки объяснить такой отзыв о Шаляпинѣ? Он остался совершенно равнодушен ко всѣм достоинствам шаляпинскаго голоса, шаляпинскаго таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая дѣйствительно была у Шаляпина всегда, а в тѣ годы, — ему было тогда лѣт двадцать пять, — особенно: на избыток, на нѣкоторую неумѣренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпинѣ было слишком много «богатырскаго размаха», даннаго ему и от природы и благопріобрѣтеннаго на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы вездѣ и всюду, по всему міру, гдѣ бы она его ни видала: на оперной сценѣ, на концертной эстрадѣ, на знаменитом пляжѣ, в дорогом ресторанѣ или в салонѣ милліонера. Трудно вкусившему славы быть умѣренным!

— Слава подобна морской водѣ, — чѣм больше пьешь, тѣм больше жаждешь, — шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мнѣ карточку своего отца:

— Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточкѣ был весьма благопристойный человѣк лѣт пятидесяти, в крахмальной рубашкѣ с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубѣ, и я усумнился: точно ли драл? Почему это всѣ так называемые «самородки» непремѣнно были «нещадно драны» в дѣтствѣ, в отрочествѣ? «Горькій, Шаляпин поднялись со дна моря народнаго»... Точно ли «со дна»? Родитель, служившій в уѣздной земской управѣ, ходившій в енотовой шубѣ и в крахмальной рубашкѣ, не Бог вѣсть какое дно. Думаю, что нѣсколько прикрашено вообще все дѣтство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаніях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говорившій ему о пѣніи:

— Пой, Федя, — на душѣ веселѣй будет! Пѣсня — как птица, выпусти ее, она и летит!

И всетаки судьба этого человѣка была дѣйствительно сказачна, — от пріятельства с кузнецом до пріятельских обѣдов с великими князьями и наслѣдными принцами дистанція не малая. Была его жизнь и счастлива без мѣры, во всѣх отношеніях: воистинѣ дал ему Бог «в пре-

дѣлѣ земном все земное». Дал и великую тѣлесную крѣпость, пошатнувшуюся только послѣ цѣлых сорока лѣт странствій по всему міру и всяческих земных соблазнов.

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостиницѣ в Одессѣ: он тогда в Одессѣ гастролировал и всѣх поражал не только молодой свѣжестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: послѣ каждаго спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лѣт и вот вспоминаю: большинство наших встрѣч с ним все в ресторанах. Когда и гдѣ мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на ты однажды ночью в Большом Московском Трактирѣ, в огромном домѣ против Иверской часовни. В этом домѣ, кромѣ трактира, была и гостиница, в которой я, пріѣзжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тѣм болѣе в ту пору, когда я жил над ним в гостиницѣ: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обѣдов, для ночных кутежей наиболѣе знатных московских купцов из числа наиболѣе европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московскій француз Сіу со своими дамами и знакомыми, среди

которых сидѣл и я. Шампанское за столом Ciy, как говорится, лилось рѣкой, он то и дѣло посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и пѣвшему в своих красных куртках на эстрадѣ, затопленной блеском люстр. И вот на порогѣ зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосаго Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пѣл. Нужно-ли говорить, какой изступленный восторг охватил неаполитанцев и всѣх пирующих при этой неожиданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лѣстницѣ в гостиницу, и он вдруг мнѣ сказал этаким волжским тенорком:

— Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому рѣшил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не дѣйствует уже.

— Не забывай, — сказал я, — что живу я на пятом этажѣ и не так мал.

— Ничего, милый, — отвѣтил он, — как нибудь донесу!

И, дѣйствительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца — потребовал в номер бутылку «столѣтняго» бургонскаго за цѣлых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя всетаки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собесѣднику, неустанно разсказывать то то,

то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, — и чаще всего самыми крѣпкими, — жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихачѣ по зимней ночной Москвѣ из «Праги» в «Стрѣльну»: мороз жестокій, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по вѣтру. Я не выдержал и крикнул:

— Что ты над собой дѣлаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

— Ты умный, Ваня, — отвѣтил он сладким говорком, — только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

— Надоѣл ты мнѣ со своей Русью! — сказал я.

— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человѣка можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

— За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вмѣстѣ с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.

— Чѣм же я от них отличаюсь?

— Тѣм, что, например, Горькій и Андреев очень способные люди, а всѣ их писанія всетаки только «литература» и часто даже лубочная, твой-же голос во всяком случаѣ не «литература».

— Пьяные, Ваня, склонны льстить.

— И то правда, — сказал я, смѣясь. — А ты всетаки замолчи и запахнись.

— Ну, ин будь по твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рявкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

В Москвѣ существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшійся каждую недѣлю в домѣ писателя Телешова, богатаго и радушнаго человѣка. Там мы читали друг другу свои писанія, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нерѣдким гостем, слушал чтенія, — хотя терпѣть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себѣ аккомпонируя, пѣл — то народныя русскія пѣсни, то французскія шансонетки, то Блоху, то Марсельезу, то Дубинушку — и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, пріѣхав на «Среду», он тотчас-же сказал:

— Братцы, пѣть хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Пѣть до смерти хочется! Возьми лихача и немедля пріѣзжай. Будем пѣть всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И всетаки легко представить себѣ, что это за вечер был — соединеніе Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пѣл он однажды и у меня в гостях на

Капри, в гостиницѣ «Квисисана», гдѣ мы с женой жили три зимы под ряд. Мы дали обѣд в честь его пріѣзда, пригласили Горькаго и еще кое-кого из капрійской русской колоніи. Послѣ обѣда Шаляпин вызвался пѣть. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всѣх салонах гостиницы столпились всѣ жившіе в ней и множество капрійцев, слушали с горящими глазами, затаив дыханіе... Когда я как-то завтракал у него в Парижѣ, он сам вспомнил этот вечер:

— Помнишь, как я пѣл у тебя на Капри?

Потом завел грамофон, стал ставить напѣтыя им в прежніе годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

— Не плохо пѣл! Дай Бог так-то всякому!

1938 г.

ГОРЬКІЙ

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, — странной потому, что чуть не два десятилѣтія считались мы с ним большими друзьями, а в дѣйствительности ими не были, — начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось, что человѣк, с которым у меня за цѣлых двадцать лѣт не было для вражды ни единаго личнаго повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мнѣ ужас, негодованіе. С теченіем времени чувства эти перегорѣли, он стал для меня как-бы несуществующим. И вот нѣчто совершенно неожиданное:

— L'écrivain Maxime Gorki est décédé... Alexis Péchkoff connu en littérature sous le nom Gorki, était né en 1868 à Nijni-Novgorod d'une famille de cosaques...

Еще одна легенда о нем. Босяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имѣет о многом в жизни Горькаго точнаго представленія. Кто знает его біографію достовѣрно? И почему большевики, превозгласившіе его величайшим геніем, издающіе его

несмѣтныя писанія милліонами экземпляров, до сих пор не дали его біографіи? Сказочна вообще судьба этого человѣка. Вот уже сколько лѣт міровой славы, совершенно безпримѣрной по незаслуженности, основанной на безмѣрно счастливом для ея носителя стеченіи не только политических, но и весьма многих других обстоятельств,— например, полной неосвѣдомленности публики в его біографіи. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смѣло о том, что такое и какого рода этот талант, создавшій, например, такую вещь, как «Пѣсня о соколѣ»,— пѣсня о том, как совершенно неизвѣстно зачѣм «высоко в горы вполз уж и лег там», а к нему прилетѣл какой-то ужасно гордый сокол. Всѣ повторяют: «босяк, поднялся со дна моря народнаго...» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словарѣ Брокгауза: «Горькій-Пѣшков Алексѣй Максимович. Родился в 69-м году, в средѣ вполнѣ буржуазной: отец — управляющій большой пароходной конторы; мать — дочь богатаго купца красильщика...» Дальнѣйшее — никому в точности не вѣдомо, основано только на автобіографіи Горькаго, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамотѣ — учился я у дѣда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходѣ, у повара Смураго, человѣка сказочной силы, грубости и — нѣжности...» Чего стоит один этот сусальный вѣчный Горьковскій образ! «Смурый привил мнѣ, дотолѣ люто ненавидѣвшему всякую печатную бумагу, свирѣпую страсть к чтенію, и я до безумія стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу

лубочную. В пятнадцать лѣт возымѣл свирѣпое желаніе учиться, поѣхал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вслѣдствіи чего и поступил в крендельное заведеніе. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лѣт пустил в себя пулю, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцію яблоками... В свое время был призван к отбыванію воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскорѣ почувствовал себя среди интеллигенціи совсѣм не на своем мѣстѣ и ушел бродить по югу Россіи...»

В 92-м году Горькій напечатал в газетѣ «Кавказ» свой первый разсказ «Макар Чудра», который начинается на рѣдкость пошло: «Вѣтер разносил по степи задумчивую мелодію плеска набѣгавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, стараго цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позѣ, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: «Вѣдома-ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна-ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года послѣ того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенціи, уже многіе зачитывались и «Макаром Чудрой» и послѣдующими созданіями горьковскаго пера: «Емельян Пиляй», «Дѣд Архип и Ленька»... Уже славился Горькій и сатирами

— например, «О чижѣ, любителѣ истины, и о дятлѣ, который лгал», — был извѣстен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской Газетѣ»), подписываясь так: «Іегудіил Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой порѣ и относятся мои первыя свѣдѣнія о нем: в Полтавѣ, куда я тогда пріѣзжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горькій. Фигура удивительно красочная. Ражій дѣтина в широчайшей крылаткѣ, в шляпѣ вот с этакими полями и с пудовой суковатой дубинкой в рукѣ...» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Пріѣзжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстрѣчу идет с кѣм-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущаго рядом с ним, что-то басом гудящаго и все время высоко взмахивающаго руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горькій». Знакомлюсь, гляжу и убѣждаюсь, что в Полтавѣ описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремоваго цвѣта, вышитая разноцвѣтными шелками по подолу и вороту. Только не дѣтина и не ражій, а просто высокій и нѣсколько сутулый, рыжій парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крѣпко затянулся и тотчас же опять загудѣл и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пу-

стил в ея мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изрѣдка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатлѣніе. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаніями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был безконечно длинный и безконечно скучный разсказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков,— скучный прежде всего по своему однообразію гиперболичности, — всѣ эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кромѣ того и по неумѣренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горькій все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вродѣ дружескаго сближенія, с его стороны нѣсколько даже сентиментальнаго, с каким-то застѣнчивым восхищеніем мною:

— Вы-же послѣдній писатель от дворянства, той культуры, которая дала міру Пушкина и Толстого!

В тот-же день, как только Чехов взял извозчика и поѣхал к себѣ в Аутку, Горькій позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, гдѣ он снимал у кого-то комнату, показал мнѣ, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенькаго цвѣта и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщинѣ... Подарок везу...

Теперь это был совсѣм другой человѣк, чѣм на набережной, при Чеховѣ: милый, шутливо-ломающійся, скромный до самоуниженія, гово-

рящій уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как-бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случаѣ — с одинаковым удовольствіем, одинаково неустанно, — впослѣдствіи я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполнѣ входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных мѣстах, когда старался быть особенно убѣдительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились и нѣкоторыя другія его черты, которыя я неизмѣнно видѣл впослѣдствіи много лѣт. Первая черта была та, что на людях он бывал совсѣм не тот, что со мной наединѣ или вообще без посторонних, — на-людях он чаще всего басил, блѣднѣл от самолюбія, честолюбія, от восторга публики перед ним, разсказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застѣнчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожаніи культуры и литературы, разговор о которых были настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мнѣ впослѣдствіи, начал он говорить еще тогда, в Ялтѣ:

— Понимаете, вы же настоящій писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наслѣдственность высокаго художественнаго искусства русской литературы. Наш брат, писатель для новаго читателя, должен непрестанно учиться этой культурѣ, почитать ее всѣ-

ми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомнѣнно, была и тут игра, было и то самоуниженіе, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лѣт и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мнѣ это слово, — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я не мало видал таких походок в одесском порту. У него были большія, ласковыя, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, пріятно жал ее, цѣловался мягкими губами крѣпко, взасос. Скулы у него выдавались совсѣм по татарски. Небольшой лоб, низко заросшій волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лѣзли вверх, к волосам, складками. В выраженіи лица (того довольно нѣжнаго цвѣта, что бывает у рыжих) иногда мелькало нѣчто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказалось у его сына Максима, котораго я, в его дѣтствѣ, часто сажал к себѣ на шею верхом, хватал за ножки и до радостнаго визга доводил скачкой по комнатѣ.

Ко времени первой моей встрѣчи с ним слава его шла уже по всей Россіи. Потом она только продолжала рости. Русская интеллигенція сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революціонности, мало того, что Горькій так отвѣчал этой революціонности: в ту по-

ру шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горькій уничтожал мужика и воспѣвал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революціонных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведеніе Горькаго тотчас дѣлалось всероссійским событіем. И он все мѣнялся и мѣнялся — и в образѣ жизни, и в обращеніи с людьми. У него был снят теперь цѣлый дом в Нижнем-Новгородѣ, была большая квартира в Петербургѣ, он часто появлялся в Москвѣ, в Крыму, руководил журналом «Новая Жизнь», начинал издательство «Знаніе»... Он уже писал для художественнаго театра, артисткѣ Книппер дѣлал на своих книгах такія, например, посвященія:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себѣ. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманіем, вдруг отнимал у счастливца всѣ свои милости. В гостях, в обществѣ было тяжело видѣть его: всюду, гдѣ он появлялся, набивалось столько народу, не спускающаго с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатѣе, все неестественнѣе, ни на кого из публики не глядѣл, сидѣл в кружкѣ двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирѣпо хмурился, по солдатски (нарочито по солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общаго пользованія какую-нибудь сентенцію или политическое про-

рочество и опять, дѣлая вид, что не замѣчает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличіем поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах мѣняющіяся выраженія его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дѣло вставляли в свое обращеніе к нему его имя:

— Совершенно вѣрно, Алексѣй... Нѣт, ты не прав, Алексѣй... Видишь ли Алексѣй... Дѣло в том, Алексѣй...

Все молодое уже исчезло в нем — с ним это случилось очень быстро, — цвѣт лица у него стал грубѣе и темнѣе, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, — на лицѣ появилось много морщин, во взглядѣ — что-то злое, вызывающее. Когда мы встрѣчались с ним не в гостях, не в обществѣ, он был почти прежній, только держался серьезнѣе, увѣреннѣе, чѣм когда-то. Но публикѣ (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечерѣ в Ялтѣ я видѣл, как артистка Ермолова, — сама Ермолова и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китоваго уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснѣла, что у нея слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексѣевич... Алексѣй Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возлѣ стола, тушил, мял в пепельницѣ папиросу и даже не поднял глаз на нее.

— Я хотѣла выразить вам, Алексѣй Максимович...

Он, мрачно усмѣхнувшись в стол и, по своей привычкѣ, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Іова»:

— «Доколѣ же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузѣ, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которыя вправлял черныя штаны. Всѣм извѣстно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочіе «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встрѣчались в Петербургѣ, в Москвѣ, в Нижнем, в Крыму, — были и дѣла у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журналѣ «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первыя книги в его издательствѣ «Знаніе», участвовал в «Сборниках Знанія». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочія — больше всего из-за марки «Знанія», — тоже не плохо. «Знаніе» сильно повысило писательскіе гонорары. Мы получали в «Сборниках Знанія» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей: большія деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекціонерство: начал собирать рѣдкія древнія монеты, медали, геммы, драгоцѣнные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал

их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслажденіем (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в Россіи сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на все хватает: изо дня в день на-людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборищѣ, — говорит порой не умолкая, цѣлыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крѣпким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убѣжденіе, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописис кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вѣчный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его рѣдком знаніи Россіи. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу Россіи». Когда я его узнал, он уже нигдѣ не бродил. Никогда и нигдѣ не бродил и послѣ: жил в Крыму, в Москвѣ, в Нижнем, в Петербургѣ... В 1905 году, послѣ московскаго декабрьскаго возстанія, эмигрировал через Финляндію за границу; побывал в Америкѣ, потом семь лѣт жил на Капри, — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россію, он крѣпко осѣл в Петербургѣ... Дальнѣйшее извѣстно.

Мы с женой лѣт пять подряд ѣздили на Капри, провели там цѣлых три зимы. В это время мы с Горьким встрѣчались каждый день, чуть не всѣ вечера проводили вмѣстѣ, сошлись очень

близко. Это было время, когда он был наиболѣе пріятен мнѣ.

В началѣ апрѣля 1917 года мы разстались с ним навсегда. В день моего отъѣзда из Петербурга он устроил огромное собраніе в Михайловском театрѣ, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академіи свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такіе-то...» Собраніе очень бурно нас привѣтствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мнѣ большого удовольствія. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медвѣдь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанскаго... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крѣпко обнял меня, крѣпко поцѣловал...

Вскорѣ послѣ захвата власти большевиками он пріѣхал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны и она сказала мнѣ по телефону: «Алексѣй Максимович хочет погововорить с вами». Я отвѣтил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношенія с ним навсегда конченными.

1936 г.

ЕГО ВЫСОЧЕСТВО

Разбирая свои бумаги, нашел пакет с помѣткой: «Петр Александров».

В пакетѣ — пачка писем ко мнѣ «Петра Александрова», затѣм рукопись его наброска «Одиночество», книжечка разсказов («Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год») и еще вырѣзка из парижской соціалистической газеты «Дни» — статья М. А. Алданова, посвященная его кончинѣ: он провел остаток своей жизни в эмиграціи и умер на пятьдесят шестом году от рожденія, в скоротечной чахоткѣ.

Это был удивительный человѣк.

Алданов назвал его человѣком «совершенно удивительной доброты и душевнаго благородства». Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избравшій для своей литературной дѣятельности столь скромное имя, — Петр Александров, — в жизни носил имя куда болѣе громкое: принц Петр Александрович Ольденбургскій. Он был из рода, считающагося одним из самых древних в Европѣ, — послѣдній из русской вѣтви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, — был правнук

Императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III (Ольгѣ Александровнѣ).

Крайнее удивленіе вызвал он во мнѣ в первую же встрѣчу с ним. Это было нѣсколько лѣт тому назад, в Парижѣ. Я зашел по какому-то дѣлу в Земгор. Там, в пріемной, было множество народу и позади всѣх, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человѣк, очень высокій и на рѣдкость худой, длинный, похожій на военнаго в штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выдѣлил его из толпы. Он терпѣливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вмѣстѣ с тѣм так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывшій генерал...» Я мельком взглянул на него, на мгновеніе испытал то пронзительное чувство, которое нерѣдко испытываешь теперь при видѣ нѣкоторых пожилых и бѣдных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одеждѣ, очень простой и дешевой: легкое непромокаемое пальто неопредѣленнаго цвѣта, бумажные воротнички, грубые ботинки военнаго англійскаго образца... Меня удивил его рост, его худоба, — какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как-бы музейное, — его череп, совсѣм голый, маленькій, породистый до явных признаков вырожденія, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лицѣ, небольшіе подстриженные усы тоже красно-желтаго цвѣта и выцвѣтшіе глаза, скорбные, тихіе и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вѣрнѣе, слѣдами бровей). Но удивительнѣе всего было то, что произошло вслѣд за этим: ко мнѣ подо-

шел один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:

— Его Высочество просит позволенія представиться вам.

Я подумал, что он шутит: гдѣ-же это слыхано, чтобы высочества и величества просили позволенія представиться!

— Какое высочество?

— Принц Петр Александрович Ольденбургскій. Развѣ вы не видѣли? Вон он, стоит у двери.

— Но как-же это — «просит позволенія представиться»?

— Да видите-ли, он вообще человѣк какой-то совсѣм особенный...

А затѣм я узнал, что он пишет разсказы из народнаго быта в духѣ толстовских народных сказок. Вскорѣ послѣ нашего знакомства он пріѣхал ко мнѣ и привез ту самую книжечку, на счет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографіи Земгора: три маленьких разсказа под общим заглавіем «Сон». Алданов, упоминая об этих разсказах, говорит: «Средневѣковыя хроники с ужасом говорят о кровавых дѣлах рода Ольденбургских... Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирѣпостью... А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал разсказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желаніе вступить в Народно-Соціалистическую партію! Разные были в Россіи великіе князья. Были и такіе, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойнаго Родзянко красной ленточкой в петлицѣ. Принц Ольденбургскій не нацѣплял на себя этой ленточки.

Тѣсная дружба, закрѣпленная в дѣтствѣ, в день 1-го марта 1881 года, — день убійства императора Александра II, — связывала его с Николаем II — и едва ли кто другой так безкорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже «переубѣдить» царя и, не довѣряя своей силѣ убѣжденія, хотѣл сблизить его с Толстым. Это одно уже дает представленіе об образѣ мысли и о душевном обликѣ Ольденбургскаго. В нем не было ничего от «краснаго принца», от обязательнаго для каждой династіи Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно пріобрѣсти в его положеніи...»

Разсказы его были интересны, конечно, только тѣм, что тоже давали представленіе о его душевном обликѣ. Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозрѣвающих послѣ дурмана революціи и страстно отдающихся Христу, Его завѣтам братской любви между людьми, — «единственнаго спасенія міра во всѣх его страданіях», — писал горячо, лирически, но совсѣм неумѣло, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мнѣ со всей трогательностью своей безмѣрной скромности:

— Прости, ради Бога, что все докучаю тебѣ своими писаніями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок... Но вѣдь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, рѣдко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и всетаки надѣюсь, что напишу наконец что-нибудь путное...

Достаточно удивительно для принца царской

крови и его «Одиночество». В нем есть такія строки:

— «Конец сентября. Погожій день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтаго жнивья, черных взметов; тихо летают нити серебряной паутины, темнѣют еще не успѣвшія облетѣть дубравы, далеко, между островами лѣсов, бѣлѣют церкви. Я верхом. На рыску двѣ борзыя собаки, бѣлый кобель и красная сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленям. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свѣсившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившаго все мое существо блаженнаго оцѣпенѣнія...»

— «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. «Ату его, ату его!» — что есть силы кричу я, скача за собаками. Бѣлый кобель достает его, сшибает на зеленя...»

«Ѣду проселком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремотѣ, стараюсь снова привести себя в то же состояніе, но напрасно... Зачѣм не слышу я Ея звонкаго смѣха, не вижу Ея больших добрых глаз, Ея ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»

— «Въѣзжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цѣпы... Недалеко от церкви, на выгонѣ, останавливаюсь около закоптѣлой кузницы: — Семен, а Семен, нѣсколько раз повторяю я, не слѣзая с лошади. — Из сарая выходит маленькій плотный мужик, подходит к

лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается.

— Здравствуй, Семен. Не зайдешь-ли сегодня ко мнѣ вечерком посидѣть, побесѣдовать? — робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. — Что-ж, зайду, спасибо, — отвѣчает он просто, теребя второченнаго русака...»

— «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный бѣлый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налѣво — флигелек, в котором поселился я. Меня встрѣчает старик рабочій. Я слѣзаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю нѣсколько рюмок водки, наскоро обѣдаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы... Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю...»

Зная, что в этих строках нѣт ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человѣк! А что выдумки в них нѣт, об этом он сам говорил мнѣ. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его гдѣ-нибудь со своей обычной дѣтской простосердечностью и застѣнчивостью:

— Не скрою от тебя, это мнѣ доставило бы большую радость. Мнѣ набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда, — то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда то... то есть, тогда, когда мы разошлись с Олей... с Ольгой Александровной...

Перечитывая эти строки, опять задаю себѣ все тот же вопрос, который постоянно приходит

мнѣ в голову при воспоминаніи о покойном: но кто же, в концѣ концов, был этот принц, робко просившій кузнеца провести с ним вечер, человѣк, с истинно святой простотой называвшій при посторонних Николая II — Колей? (Да, однажды, на одном вечерѣ у одного нашего знакомаго, гдѣ большинство гостей были старые революціонеры, он, слушая их оживленную бесѣду, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какіе вы всѣ милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!»). Отвѣтить на этот вопрос, — что за человѣк был он, — я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Нѣкоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но вѣдь и святые, блаженные были «ненормальны»...

Письма ко мнѣ тоже очень рисуют его. Привожу нѣкоторыя строки из них:

— ...Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой фермѣ, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огородѣ... По субботам ѣзжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-дэ-Люз... Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатаго еще лѣтом разсказа; когда кончу, пришлю его Тебѣ с просьбой подвергнуть самой строгой критикѣ... Очень соскучился по парижским знакомым... Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мнѣ уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего болѣе чѣм добраго отношенія ко мнѣ... (1921 г.)

— ...Спасибо Тебѣ большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что

Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Парижѣ дорого и холодно... Пріѣзжайте в наши края, тут и теплѣй и дешевле. Этим лѣтом, прежде чѣм поселиться на фермѣ, я два раза останавливался в одном пансіончикѣ в предмѣстьѣ Сэн-Жан-дэ-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и пріятны, хозяйки, мать и двѣ дочери, баски, потомки знаменитаго китолова, патріархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них, как дома... (1921 г.)

— ... Здѣсь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует... Настроеніе у меня не радостное, хочется поскорѣе весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что то не пишется, не нахожу слов для выраженія мысли, изображенія картины... (1922 г.)

— ... Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебѣ большое за все, что Ты для меня сдѣлал... Начал писать задуманную повѣсть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душѣ легче, а пока тоска и страшно одиноко... Очень прошу Тебя не отказать сообщить мнѣ, когда будет напечатан мой разсказ в «Сполохах» и гдѣ можно купить этот журнал? С нетерпѣніем жду свиданія с Тобой в Парижѣ... (1922 г.)

В сущности я знал его мало: встрѣчал не часто, — мы все жили в разных мѣстах, — до эмиграціи даже не видал никогда, свѣдѣній о его прежней жизни, в Россіи, имѣю немного: до войны он, в чинѣ генерала-майора, командовал стрѣлками императорской фамиліи... в

1917 году вышел в отставку и поселился в деревнѣ, в Воронежской губерніи, гдѣ мужики — тоже довольно странная исторія — предлагали ему кандидатуру в Учредительное Собраніе... потом, с наступленіем террора, бѣжал во Францію и большей частью жил по сосѣдству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой фермѣ под Байоной (которую, кстати сказать, он завѣщал своему бывшему денщику, тоже бѣжавшему вмѣстѣ с ним из Россіи и неотлучно находившемуся при нем почти до конца его жизни в качествѣ и слуги и друга)... Неизвѣстен мнѣ полностью и его характер, — Бог вѣдает, может быть, были в нем кромѣ тѣх черт, которыя знал я, и другія какія-нибудь. Я же знал только прекрасныя: эту дѣйствительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо днем с огнем искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращеніи с людьми, рѣдкую нѣжность в дружбѣ, горячее и неустанное стремленіе ко всему, что дает человѣческому сердцу мир, любовь, свѣт и радость...

Сперва он жил под Парижем, — и тут мы встрѣчались чаще всего, — потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумленію, вторично женился: встрѣчаю его как то в нашем консульствѣ (это было еще до признанія Франціей большевиков, тогда, когда Посольство на улицѣ Гренелль еще оставалось в нашем эмигрантском распоряженіи) и вдруг он как-то особенно нѣжно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невѣстѣ... Мы с ней пришли сюда как раз по нашему дѣлу, насчет исполненія разных формальностей, нужных нам

для свадьбы...» Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго послѣ того и прожил он. Через год, пріѣхав весной искать дачу в Вансѣ (возлѣ Ниццы), мы с женой вдруг встрѣтили его там: одиноко сидит возлѣ кафэ на площади, увидав нас удивленно вскакивает, спѣшит навстрѣчу:

— Боже, как я рад! Вот не чаял!

— А ты зачѣм и почему здѣсь?

Он махнул рукой и заплакал:

— Видишь: даже не смѣю обнять тебя и поцѣловать руку Вѣрѣ Николаевнѣ, у меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом...

Юг ему не помог. Он переѣхал в Париж, жил свою послѣднюю зиму в санаторіи. Но не помогла и санаторія: к веснѣ его опять перевезли на Ривьеру, гдѣ он вскорѣ и скончался — в бѣдности, в полном одиночествѣ...

Той зимой он в послѣдній раз посѣтил меня. Попросил письмом позволенія пріѣхать. «Умоляю Тебя, как только это будет Тебѣ возможно, назначь мнѣ свиданіе по очень важному для меня дѣлу...» И вскорѣ, как то вечером, пріѣхал — едва живой, задыхающійся, весь облитый дождем. И дѣло его оказалось такое, что мнѣ и теперь больно вспоминать о нем: его хотѣли взять в опеку, объявить умалишенным (все из за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он пріѣхал просить меня написать куда то удостовѣреніе, что я нахожу его в здравом умѣ и твердой памяти...

— Но, дорогой мой, помилуй, какое же может имѣть значеніе мое удостовѣреніе?

— Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я, конечно, написал. Но вскорѣ смерть освободила его от всѣх наших удостовѣреній.

Гроб его стоит теперь в подземельи русской церкви в Каннах, ожидая Россіи, успокоенія в родной землѣ.

1931 г.

КУПРИН

Это было давно — когда я только что узнал о его существованіи, впервые увидал в «Русском Богатствѣ» его имя, которое всѣ тогда произносили с удареніем на первом слогѣ, и этим удареніем, как я видѣл это впослѣдствіи, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнѣва, по звѣриному щурил глаза, и без того небольшіе, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на послѣдній слог:

— Я — Куприн и всякаго прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не совѣтую.

Сколько в нем было когда-то этого звѣринаго — чего стоит одно обоняніе, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарскаго! Насчет многаго, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москвѣ, сперва в кадетском корпусѣ, потом в Александровском военном училищѣ, недолгое время был офицером на русско-австрійской границѣ, а затѣм чѣм только не был! Изучал зубоврачебное дѣло, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводѣ, был землемѣром, актером, мелким журналистом...

Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетскій корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бѣдности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем домѣ». Про нее знаю, что, по происхожденію, она была княжна с татарской фамиліей, и всегда видѣл, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цвѣтную тюбитейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, гдѣ садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, двѣ тысячи рублей авансом за одно только обѣщаніе не забыть их при случаѣ своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловѣщим шопотом: «геть сію же минуту к чортовой матери!», что робкіе люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсѣм другого, столь же характернаго для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застѣнчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушія, хотя порой и напраннаго, много мальчищеской веселости и того милаго однообразія, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к

рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному — и к Пушкину, к Толстому, — тут он, впрочем, неизмѣнно говорил только о лошади Вронскаго, о «прелестной, божественной Фру-Фру», — и еще к Киплингу. За послѣдніе годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумѣется, неудачно, — Киплинг возвышался в нѣкоторых своих вещах до подлинной геніальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, один в своем родѣ, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполнѣ естественно.

Я поставил на него ставку тотчас послѣ его перваго появленія в «Русском Богатствѣ» и потому с радостью услыхал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфѣ, под Одессой, что к нашим сожителям по дачѣ Карышевым пріѣхал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но всетаки дома мы его не застали, — «он вѣрно, купается», сказали нам. Мы сбѣжали к морю и увидали неловко вылѣзающаго из воды невысокаго, слегка полнаго и розоваго тѣлом человѣка лѣт тридцати, стриженнаго каштановым ежиком, близоруко разглядывающаго нас узкими глазами. — «Куприн?» — «Да, а вы?» — Мы назвали себя, и он сразу просіял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мнѣ однажды: «Талантливая рука!»). Послѣ знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро,— в нем тогда веселости и добродушія было так много, что на всякій вопрос о нем, — кромѣ того, что касалось его семьи, его дѣтства, — он отвѣчал с рѣдкой поспѣшностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я

сейчас? Из Кіева... Служил в полку возлѣ австрійской границы, потом полк бросил, хотя званіе офицера считаю самым высоким... Жил и охотился в Полѣсьѣ, — никто даже себѣ и прадставить не может, что такое охота на глухарей перед разсвѣтом! Потом за гроши писал всякія гнусности для одной кіевской газетки, ютился в трущобах среди самой послѣдней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положеніе ужасное — посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поѣхать... Слава Богу, что милые Карышевы пріютили, а то бы хоть красть...»

В это чудесное лѣто, в южныя теплыя звѣздныя ночи мы с ним без конца скитались и сидѣли на обрывах над блѣдным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. — «Да меня же никуда не примут», жалостливо скулил он в отвѣт. — «Но вѣдь вы уже печатались!» — «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». — «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей «Міра Божьяго», — ручаюсь, что там примут». — «Очень благодарю, но что-ж я напишу? Ничего не могу придумать!» — «Вы знаете, например, солдат, — напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню...» — «Но я же не знаю деревни!» — «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вмѣстѣ...» — Так и написал он свою «Ночную смѣну», которую мы послали в «Мір Божій», потом еще какой-то разсказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесскія Новости», — сам он почему-то

«ужасно боялся», — и за который мнѣ удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом. Он ждал меня на улицѣ и, когда я выскочил к нему из редакціи с двадцати-пятирублевкой, глазам своим не повѣрил от счастья, потом побѣжал покупать себѣ «штиблеты», потом на лихачѣ помчал меня в приморскій ресторан «Аркадію» угощать жареной скумбріей и бѣлым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лѣт и какой бѣшеной скороговоркой кричал он мнѣ во хмелю впослѣдствіи:

— Никогда не прощу тебѣ, как ты смѣл мнѣ благодѣтельствовать, обувать меня, нищаго, босого!

Странно вообще шла наша дружба в теченіе цѣлых десятилѣтій: то бывал он со мной нѣжен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно цѣню, ты пишешь отличным языком, а кромѣ того отлично верхом ѣздишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лѣз на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и перемѣнчивость настроеній. Чѣм больше я узнавал его, тѣм все больше думал, что нѣт никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомѣрную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невѣроятной, жил гдѣ по-

пало и как попало с безшабашностью человѣка, которому все трын трава...

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встрѣчались в Одессѣ, и тут я видѣл, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и ни кѣм не интересуется, кромѣ портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов... В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастіем предавался при встрѣчах со мной смакованію всяких острых художественных наблюденій и очень часто проявлял какія-то ѣдкія душевныя склонности — охоту, напримѣр, к издѣвательству над людьми: «Взять какого-нибудь болвана, часто говорил он с упоеніем, взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми безстыдными похвалами, вообще всячески «развертѣть» ее, — да что же может быть слаще этого?»

Потом в жизни его вдруг выступил рѣзкій перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Міра Божьяго», потому что Давыдова умерла через нѣсколько дней послѣ того, как он совершенно внезапно сдѣлал предложеніе ея дочери, жить стал в достаткѣ, с замашками барина, все больше дѣлаясь своим человѣком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себѣ все большій успѣх. В эту пору он написал свои лучшія вещи: «Конокрад», «Болото», «Трус», «Рѣка Жизни»,

«Гамбринус»... Когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика...

Восемнадцать лѣт тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Парижѣ, — самыми близкими сосѣдями, в одном и том же домѣ, — и он пил особенно много, доктор, осмотрѣвшій его, однажды твердо сказал нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести мѣсяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался послѣ того еще лѣт пятнадцать, «молодцом во всѣх отношеніях», как говорили нѣкоторые. Но всему есть предѣл, настал конец и рѣдким силам моего друга: года три тому назад, пріѣхав с юга, я как-то встрѣтил его на улицѣ и внутренно ахнул: и слѣда не осталось от прежняго Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенькій, слабенькій, что, казалось, первый порыв вѣтра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нѣжностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как то я получил от него открытку в двѣ-три строчки, — такія крупныя, дрожащія каракули и с такими нелѣпыми пропусками букв, точно их выводил ребенок... Все это и было причиной того, что за послѣдніе два года я не видал его ни разу, ни разу не навѣстил его: да простит мнѣ Бог — не в силах был видѣть его в таком состояніи.

Прошлым лѣтом, проснувшись утром под Парижем в поѣздѣ, на возвратном пути из Италіи, и развернув газету, поданную мнѣ вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня извѣстіем:

«Александр Иванович Куприн возвратился в СССР....»

Никаких политических чувств по отношенію к его «возвращенію» я, конечно, не испытал. Он не уѣхал в Россію, — его туда увезли, уже совсѣм больного, впавшаго в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношеніе к ней. Другіе — Горькій, Андреев, Шаляпин — жили в непрестанном упоеніе своими славами, в непрерывном чувствованіи их не только на людях, на всяких публичных собраніях, но и в гостях, друг у друга, в отдѣльных кабинетах ресторанов, — сидѣли, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компаніи и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемыми «ты, Алексѣй, ты, Леонид, ты, Федор...» А Куприн, даже в тѣ годы, когда мало уступал в россійской славѣ Горькому, Андрееву, нес ее так, как будто ничего новаго не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малѣйшаго значенія, дружит, не разстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вродѣ пьяницы и босяка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно — уже полную свободу дѣлать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свѣчу, посылать к чорту все и вся.

— Я не честолюбив, я самолюбив, — как-то сказал я ему по какому-то поводу.

— А я? — быстро спросил он. И на минуту

задумался, сощурив, по своему обыкновенію, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбив до бѣшенства и от этого застѣнчив иногда до низости. А на честолюбіе не имѣю даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чѣм попало, потом стал кормиться разсказишками, — вот и вся моя писательская исторія...

Он это часто повторял — «я стал писателем случайно». Это, конечно, не правда, опровергается его же собственными автобіографическими признаніями в «Юнкерах». Но вот что правда — это то, что, выйдя из полка и кормясь потом дѣйствительно чѣм попало, он кормился между прочим при какой-то кіевской газеткѣ не только журнальной работой, но и «разсказишками». Он мнѣ говорил, что эти «разсказишки» он сбывал «за сущіе гроши, но очень легко», а писал «на бѣгу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать — уже не для кіевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильнѣй — большой талантливости. Всѣм извѣстно, в какой средѣ он рос, гдѣ и как провел свою молодость и с какими людьми общался всю свою послѣдующую жизнь. А что он читал? И гдѣ и когда? В своем автобіографическом письмѣ к критику Измайлову он говорит:

— Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаній, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до

сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинулся он на книги (если только правда, что «накинулся»)? Во всяком случаѣ слова «и до сей поры» — весьма сомнительны. Все его развитіе, все образованіе совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, слѣдствіем чего и вышло то, что в смыслѣ — как бы это сказать? — интеллигентности, что-ли,— уровень его произведеній был вполнѣ обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нерѣдко так ярко, крѣпко, здраво, вообще в полную противоположность с тѣм, как он жил, каким был в жизни, а не в писательствѣ.

Как он жил, каким он был в жизни, извѣстно. И вот что замѣчательно: та разница, которая была между тѣм, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной «стихійности», «непосредственности» его произведеній, о той «первичности переживаній, которыми они плѣняют». Читаешь о нем и сейчас то же самое; «Помѣшали Куприну стать великим писателем только стихійность его дарованій и истинно русская небережливость, слишком большое довѣріе к «нутру», в ущерб законченности и отдѣланности во всѣх смыслах... то, что он «не кончил консерваторіи», как говорили символисты о бытовиках... в своем творчествѣ Куприн, по самой природѣ своей, не-книжный человѣк, не вдохновлялся литературными сюжетами... Ни в нем, ни в его героях не было двойственности...» Все это требует больших оговорок. Точно-ли не было двойственности в нем? Жил он дѣйствительно «стихійно», «непосредствен-

но», «по нутру» — тут ему и впрямь всякое море было по колѣно, тут он так не цѣнил ни своего тѣла, ни ума, ни сердца, ни своей репутаціи, что был и еще долго будет притчей во языцѣх. А каким был как писатель? Нѣт, «консерваторію» он проходил (это уже другое дѣло, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательствѣ, далеко не все шло ему на пользу тут.

Это еще мелочи, — то, что не мало было в его разсказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выраженій, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «желѣзный закон борьбы за существованіе», «его нѣжная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновеній дѣйствительности с ея бурными, но суровыми нуждами», «стройная, граціозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором...» Это еще полбѣды, — бѣда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внѣшними, но и внутренними. И выходило так: требуется что нибудь подходящее для кіевской газетки? пожалуйста, — в пять минут сдѣлаю и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее солнце косыми лучами освѣщало вершины дерев...»; надо писать разсказ для «Русскаго Богатства»? И за этим дѣло не постоит, — вот вам «Молох»:

«Заводскій гудок протяжно ревѣл, возвѣщая начало рабочаго дня. Густой, хриплый звук, ка-

залось, выходит из-под земли и низко разстилался по ея поверхности...»

Развѣ плохо для вступленія в смыслѣ литературности? Все честь честью — вплоть до пошлаго ритма этих двух предложеній, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнцѣ с его косыми лучами. Все как надо и дальше, есть все, что требуется по образцам даннаго времени, и все, что полагается для разсказа о «Молохѣ»: «Нѣжная, почти женственная натура» болѣзненно-нервнаго интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей, «страдальческой» службѣ капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающій замуж за своего служащаго, подлаго карьериста, эту «стройную, граціозную» Нину, дочь другого заводскаго служащаго и возлюбленную Боброва, с цѣлью сдѣлать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаянія голодом и холодом рабочих, пожар завода...

Я всегда помнил тѣ многія большія достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покоѣ», «Лѣсная глушь», «Рѣка жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные разсказы о Балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задѣвало меня даже и в этих разсказах. Вот, напримѣр, в «Рѣкѣ жизни», предсмертное письмо застрѣлившагося в номерах «Сербія» студента: «Не я один погиб от моральной заразы... Все прошлое поколѣніе выросло в духѣ набожной тишины, насильственнаго почтенія к старшим, безличности и безгласности. Будь-же проклято это подлое время, время молчанія и нищенства, это благоденствен-

ное и мірное житіе под безмолвной сѣнью благочестивой реакціи!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь рѣшил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отмѣток. Вот кое что из того, что я отмѣчал:

— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человѣческій труд кипѣл здѣсь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь желѣзному закону борьбы за существованіе, отдать свои силы, здоровье, ум и энергію за один только шаг вперед промышленнаго прогресса... («Молох»)

— Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нея глядѣли, свѣсившись вниз, двѣ дѣтскія головки с выгорѣвшими на солнцѣ волосами... В углу перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом прутѣ спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присѣл около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здѣсь много, много часов в томительном и вынужденном бездѣйствіи...

— Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшійся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку...

— В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, безконечную жалобу...

— К чему эта жизнь? — говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловѣческое прозяба-

ніе? Какой смысл в болѣзнях и смертях милых, ни в чем не повинных дѣтей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар... («Болото»).

— Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчаніе... Он пронесся по лѣсу низко, над самой землею, и стих... («Лѣсная глушь»).

— Он открывал глаза и фантастическіе звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчика на дышлѣ; и попрежнему разстилались и налѣво и направо спящія бѣлыя поля, попрежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, попрежнему равномѣрно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

— Позвольте представиться: мѣстный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович... («Жидовка»).

Право, трудно было не отмѣчать всѣ эти тысячу раз пѣтыя и перепѣтыя, обязательно «свѣшивающіяся с печки» дѣтскія головки, этот вѣчный огрызок сахару, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховскаго студента из «Болота», тургеневскій «странный звук, внезапно пронесшійся по лѣсу», толстовскую дремоту в санях («попрежнему равномѣрно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилія котораго уж непремѣнно Ирисов или Гіацинтов, а отчество Афиногенович или Ардаліонович — и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзгѣ»: разговоры затерянных гдѣ-то в сѣверных снѣгах учителя и фельдшера:

— Иногда учителю начинало казаться, что он, с тѣх пор, как помнит себя, никуда не вы-

ѣзжал из Курши... что он только в забытой сказкѣ или во снѣ слышал про другую жизнь, гдѣ есть цвѣты, сердечные, вѣжливые люди, умныя книги, женскіе нѣжные голоса и улыбки...

— Я всегда, Сергѣй Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу, — говорил учитель фельдшеру. — Я гляжу, напримѣр, на какое нибудь прекраснѣйшее зданіе, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется безсмертным на вѣки вѣчные, я радуюсь его славѣ и я совсѣм ему не завидую. Но вѣдь и незамѣтный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, развѣ он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человѣчество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

В разсказѣ «Нарцыс» я отмѣтил описаніе свѣтскаго салона, какую-то баронессу и ея пріятельницу Бэтси, — да, это уж неизбѣжно: Бэтси! — и грозовый вечер, — «в густом, раскаленном воздухѣ чувствовалась надвигающаяся гроза», — и тот первый поцѣлуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с «надвигающейся грозой»... В «Ямѣ» отмѣтил то мѣсто, гдѣ «огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки», пѣніе которой так потрясло дѣвиц публичнаго дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть генія!»

Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый разсказ и огорчился еще больше. Книга эта начинается разсказом «На разъѣздѣ». Содержаніе его таково: ѣдут по желѣзной дорогѣ в одном

и том же купэ случайно встрѣтившіеся в пути какой-то молодой человѣк, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развѣвающіеся пепельные волосы», и ея муж, гнусный старик чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворскій не умѣл и не мог ни о чем говорить, кромѣ своей персоны, собственных ревматизмов и гемороев и на жену смотрѣл, как на благопріобрѣтенную собственность...» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человѣку, говорит и ему грубости и тѣм самым еще болѣе раздувает загорѣвшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в концѣ концов и признаются друг другу на остановкѣ на каком-то разъѣздѣ, гдѣ их поѣзд оказывается рядом с другим, встрѣчным, поѣздом, а признавшись, перебѣгают в этот поѣзд, рѣшив бросить старика и соединиться навѣки. Тут молодой человѣк страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вмѣсто отвѣта спрятала свое лицо у него на груди»...

Потом я перечитал то, что больше всего забыл: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные разсказы: «Ночная смѣна», «Поход», «Дознаніе», «Свадьба»... Первые три разсказа опять оказались слабы: и по неубѣдительности фабул и по исполненію, — написаны под Мопасана и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так умѣло... «У Вѣры Львовны вдруг явилось непреодолимое желаніе прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкаго человѣка, согрѣться его теплотой... То и дѣло легкія тучки набѣгали на свѣтлый и круглый мѣсяц и вдруг

окрашивались причудливым золотым сіяніем... Вѣра Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознаніе, приходящее рано или поздно в голову каждаго чуткаго, вдумчиваго человѣка, — на сознаніе той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вѣчно стоит между двумя близкими людьми...» И в этом разсказѣ, как и в предидущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных разсказах дѣло пошло уже иначе, я все чаще стал внутренно восклицать: отлично! Тут опять все немножко не в мѣру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», разсказ не заставляющій, не в примѣр прочим названным, думать: «ох, сколько тут Толстого и Чехова!» — разсказ очень жестокій, отдающій злым шаржем, но и блестящій. А когда я дошел до того, что принадлежит к порѣ высшаго развитія купринскаго таланта, к тому, что я выдѣлил выше, — «Конокрады», «Болото» и так далѣе, — я, читая, уже не мог думать о недостатках этих разсказов, хотя в числѣ их есть и крупные: то дешевая идейность, желаніе не отстать от духа своего времени в смыслѣ обличительности и гражданскаго благородства, то заранѣе обдуманное намѣреніе поразить драматической фабулой и почти свирѣпым реализмом... Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами разсказов, тѣм, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повѣствованій, его мѣтким и без излишества щедрым языком...

Вот еще статья о нем — строки человѣка, долго и близко его знавшаго, извѣстнаго критика Пильскаго:

— Куприн был откровенен, прям, быстр на отвѣты, в нем была радостная и открытая пылкость и безхитростность, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его сѣросиніе глаза освѣщались чудесным свѣтом, в них сіяли и трепетали крылья таланта... Он до самых послѣдних лѣт мечтал о совершенной независимости, о героической смѣлости, его восхищали времена «желѣзных времен, орлов и великанов»...

В этом дурном родѣ будут еще не мало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Купринѣ «первобытнаго, звѣринаго», сколько любви к природѣ, к лошадям, собакам, кошкам, птицам... В послѣднем есть, конечно, много правды, и я вовсе не хотѣл сказать, говоря о разницѣ между Куприным писателем и Куприным человѣком, — таким, каким его характеризуют почти всѣ, — будто никак не проявлялся человѣк в писателѣ: конечно, все таки проявлялся, и чѣм дальше, тѣм все больше. «Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, как говорит другой критик: «купринское благословеніе всему міру», это тоже было. Однако, надо помнить, что было только в послѣдней порѣ жизни и творчества Куприна.

1938 г.

СЕМЕНОВЫ И БУНИНЫ

«Государство не может быть инако, яко к пользѣ и славѣ, ежели будут такіе в нем люди, которые знают теченіе сил небесных и времени, мореплаваніе, географію всего свѣта...» (Регламент Императорской Россійской Академіи Наук 1747 года).

К «таким» людям принадлежал и пренадлежит Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанскій, прославившій род Семеновых.

Я многое семейное узнал о нем от В. П. Семенова-Тянь-Шанскаго, его сына, живущаго эмигрантом в Финляндіи и порой родственно переписывающагося со мной (Семеновы родственники Буниным). От него же стало мнѣ извѣстно о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем зарубежьѣ существующій только в одном экземплярѣ). В. П. прислал мнѣ этот том на прочтеніе и разсказал исторію второго, печатаніе котораго совпало с революціей и к октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатаго листа, на чем и остановилось: большевики, захватив власть, как извѣстно, тотчас же ввели свое собственное правописаніе, приказали по типографіям уничтожить всѣ знаки, изгнанные ими из алфавита, и поэтому

В. П., лично наблюдавшій за печатаніем мемуаров, должен был или бросить дальнѣйшій набор второго тома или же кончать его по новому правописанію, то есть, выпустить в свѣт книгу довольно странную по внѣшнему виду. Стараясь избѣгнуть этой странности, В. П. нашел одну типографію, тайно не исполнившую большевицкаго заказа, преступные знаки еще не уничтожившую. Однако завѣдующій типографіей, боясь попасть в Чеку, соглашался допечатать книгу по старой орфографіи только при том условіи, что В. П. достанет от большевиков письменное разрѣшеніе на это. В. П. попытался это сдѣлать и, конечно, получил отказ. Ему отвѣтили: «Нѣт, уж извольте печатать теперь ваши мемуары по нашему правописанію: пусть всякому будет видно с двѣнадцатаго листа их, что как раз тут пришла наша побѣда. Кромѣ того, вѣдь вам теперь даже и наше разрѣшеніе не помогло бы: знаки прежняго режима во всѣх типографіях уничтожены. Если же, паче чаянія, вы нашли типографію, их еще сохранившую, прошу вас немедля назвать ее, чтобы мы могли упечь ея завѣдующаго куда слѣдует». Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листѣ, и что с ней сталось, не знает, кажется, и сам В. П. (вскорѣ послѣ того покинувшій Россію). Он мнѣ писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томѣ описывается экспедиція отца в Среднюю Азію. В нем много цѣннаго научнаго матеріала, но есть страницы интересныя и для широкой публики, — например, разсказ о том, как отец встрѣтился в Сибири с Достоевским, котораго он знал в ранней молодости, — как есть таковыя же и в третьем и в четвертых томах, ярко

рисующія настроенія разных слоев русскаго общества в концѣ пятидесятых годов, затѣм эпоху великих реформ Александра II и его сподвижников...»

О Достоевском говорится и в первом томѣ, который нѣкоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует разсказ о кружкѣ Петрашевскаго и о самом Петрашевском. Мы собирались у Петрашевскаго регулярно, по пятницам, разсказывает П. П. Мы охотно посѣщали его больше всего потому, что он имѣл собственный дом и возможность устраивать для нас пріятные вечера — сам он всѣм нам казался слишком эксцентричным, если не сказать, сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерствѣ иностранных дѣл. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качествѣ на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особливо библіотек. Тут он выбирал для себя всѣ запрещенныя иностранныя книги, подмѣняя их разрѣшенными, и составлял из них свою собственную библіотеку, которую и предлагал к услугам всѣх своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и соціалистом, он являл собой замѣчательный тип прирожденнаго агитатора. Всюду, гдѣ было можно, он проповѣдывал смѣсь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для цѣлей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведеніях, заявляя, что может преподавать цѣлых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанію по одному из них, начал свою пробную лекцію так: «На этот предмет можно смотрѣть с двадцати точек зрѣ-

нія...» и дѣйствительно изложил их всѣ, хотя в учителя так и не был принят. В костюмѣ своем он отличался тоже крайней оригинальностью: носил все то, что так строго преслѣдовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавивѣ и в цилиндрѣ с четырьмя углами... Один раз он пришел в Казанскій собор в женском платьѣ, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его нѣсколько разбойничья физіономія и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное вниманіе сосѣдей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодѣтый мужчина»; но он дерзко отвѣтил: «Милостивый государь, а мнѣ кажется, что вы переодѣтая женщина», и так смутил квартальнаго, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора...

Вообще наш кружок, говорит мемуарист далѣе, не принимал Петрашевскаго всерьез; но вечера его все же процвѣтали и на них появлялись все новыя и новыя лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокія цензурныя притѣсненія, бывали литературныя чтенія, дѣлались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумѣется, с тѣм освѣщеніем, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкія рѣчи об освобожденіи крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевскій выступал с цѣлым рядом докладов о соціализмѣ. о фурьеризмѣ, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевскій читал отрывки из своих повѣстей «Бѣдные люди» и

«Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребленія помѣщиков крѣпостным правом...

Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевскій вошел в славу своим романом «Бѣдные люди», разсорился с Бѣлинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посѣщать кружки Петрашевскаго и Дурасова.

Вообще я знал его довольно долго и близко, говорит он. И вот что, между прочим, мнѣ хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утвержденіем многих, будто Достоевскій был очень начитанный, но не образованный человѣк. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В дѣтскіе годы он получил прекрасную подготовку в отцовском домѣ, вполнѣ овладѣл французским и нѣмецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училищѣ систематически и усердно изучал, кромѣ общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополненіем к его спеціальному образованію послужила ему его большая начитанность. Во всяком случаѣ можно смѣло сказать, что он был гораздо образованнѣй многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русскій народ, деревню, гдѣ жил в годы своего дѣтства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чѣм многіе из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мѣшало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом дѣлѣ, а кое в чем проявлять даже излишнія барскія замашки. Не мало говорили и писали о той нуждѣ, в которой Достоевскій будто бы нахо-

дился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По моему, не с дѣйствительной нуждой боролся он тогда, а с несоотвѣтствіем своих средств и своих желаній. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и тѣ денежныя требованія, которыя он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палаткѣ, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего на всего десять рублей — и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведеніи; а для Достоевскаго все это составляло несчастіе, он никак не хотѣл отставать от тѣх наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей...

В этом первом томѣ мемуаров Семенова много говорится о нащем, Бунинском, родѣ, к которому Семеновы принадлежат по женской линіи, и в частности об Аннѣ Петровнѣ Буниной. Совсѣм недавно была и ея годовщина — столѣтіе со времени ея смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тѣм заслуживала бы и она того. Если принять во вниманіе время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с тѣми, которые называли ее одной из замѣчательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, свѣдѣнія о ней можно найти еще в одной давней статьѣ, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встрѣчается только в исторіи литературы да и то потому, может быть, что портрет ея еще донынѣ висит в стѣнах Академіи Наук. Но в свою пору оно было очень из-

вѣстно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали востерженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитріев, бывшій ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина «занимает отличное мѣсто в числѣ современных писателей и первое между писательницами Россіи», а Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексѣевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную брильантами, «для ношенія в торжественных случаях», Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсію, Россійская Академія Наук издала собраніе ея сочиненій. Слава ея кончилась с ея смертью и всетаки даже сам Бѣлинскій лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.

Отец Анны Петровны был владѣльцем извѣстнаго села Урусова, в Рязанской губерніи. Там и родилась она — в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трем ея братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитаніе. Старшій принадлежал к образованнѣйшим людям своего вѣка, прекрасно знал многіе иностранные языки, состоял в масонской ложѣ; младшіе служили во флотѣ, причем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плѣн и был опредѣлен шведским королем в упсальскій университет, гдѣ и окончил свое образованіе. На долю А. П. выпала впослѣдствіи большая честь — она стала членом Россійской Академіи Наук. А меж тѣм первоначальное ея обрлзованіе было болѣе чѣм скудно, ибо образованіе дѣвиц считалось тогда не-

нужной роскошью. Образованія она достигла в силу своей собственной воли и желанія, послѣ того, как ея старшій брат стал возить ее в Москву и ввел в круг своих друзей из литературнаго и вообще просвѣщеннаго общества. Тут она встрѣтилась и сблизилась между прочим с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В послѣдующее время на ея развитіе имѣли большое вліяніе Н. П. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языкѣ». Она зачитывалась «Московским Журналом», выходившим под его издательством, потом встрѣчалась с ним в обществѣ, носившем названіе «Бесѣды любителей русскаго слова». Общество это организовалось в Петербургѣ в 1811 году. В нем было 24 дѣйствительных и 32 почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем «Бесѣды» был Шишков и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанскій. Цѣль ея была — «противодѣйствіе тѣм нововведеніям, которыя вносил в русскій язык Карамзин, проведеніе в жизнь подражанія образцам славянскаго языка, преслѣдованіе карамзинскаго направленія», — и весьма курьезно было то, что и сам Карамзин был ея членом».

Дальнѣйшую судьбу А. П. очень измѣнила смерть ея отца. Послѣ этой смерти она переѣхала жить к своей сестрѣ, Марьѣ Петровнѣ Семеновой, получив наслѣдство, дававшее ей 600 руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ея, Семенов, отправился в Петербург.

А. П. упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ея был «весьма фрапирован» этим, уговаривал ее отказаться от своего намѣренія — она все же от него не отказалась. В Петербург она пріѣхала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом моряком. Когда же рѣшила поселиться в столицѣ, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затѣм Семенов уѣхал в деревню, брат вскорѣ отправился в поход, и она оказалась в столицѣ совсѣм одна. Это было по тѣм временам совсѣм необычно. Но ее ничуть не смутило. Болѣе того: она наняла себѣ на Васильевском островѣ совсѣм отдѣльную квартиру, «взяв к себѣ для услуг нѣкую степенную женщину».

Добившись своего, она дѣятельно и с изумительной энергіей принялась за самообразованіе, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, нѣмецкому и англійскому языкам, физикѣ, математикѣ и главным образом россійской словесности. Успѣхи были очень быстрые. Возвратившійся из похода брат был поражен количеством и основательностью пріобрѣтенных ею познаній. Но эти-же пріобрѣтенія, обогатив ея ум, вмѣстѣ с тѣм и разорили ее матеріально: живя в Петебургѣ, она истратила весь свой наслѣдственный капитал. Положеніе ея становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспѣшил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первыя произведенія. Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотвореніе ея, «С приморскаго берега»,

появилось в печати в 1806 году; за этим послѣдовал цѣлый ряд новаго и дал ей такой успѣх в публикѣ, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдѣльным изданіем, которое и вышло в свѣт под заглавіем «Неопытная Муза». Изданіе это было поднесено императрицѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной бриллiантами», а затѣм ежегодной пенсіей в 400 рублей в год. С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотвореній, «Сельскіе вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затѣм она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданіем, в двух томах. Это изданіе тоже имѣло большой успѣх. А двѣнадцатый год принес ей «высшіе лавры»: тут она выступила с патріотическими гимнами, «снискав себѣ вящшее монаршее благоволеніе и ряд новых милостей». Но это были уже послѣднія ея радости: вскорѣ послѣ того у нея открылся рак в груди, который всю остальную жизнь ея превратил в непрерывную цѣпь страданій и наконец свел ее в могилу.

Было сдѣлано все, чтобы спасти ее или хоть облегчить ея участь. И Двор и общество, почитавшее ее не только за ея поэтическія заслуги, но и за высокія умственныя и нравственныя качества, проявили к ней большое участіе. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены свѣтила медицины, лично заботился о том, чтобы леченіе ея было обставлено как можно лучше; для нея, за счет Двора, нанимались на лѣто дачи, безплатно отпускались лѣкарства «из главной аптеки»; безплатно же посѣщали ее и придворные медики. Затѣм рѣшено было при-

бѣгнуть к послѣднему средству, в которое тогда весьма вѣрили: к поѣздкѣ в Англію, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевыя издержки ея принял на себя опять сам государь, «провожал ее Петербург с большим тріумфом». Но и Англія не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как уѣхала. Прожила она послѣ того еще двѣнадцать лѣт, но почти уже не писала, — только выпустила в 1821 году полное собраніе своих сочиненій в трех книгах, снова награжденное от Двора, на этот раз пожизненной пенсіей в двѣ тысячи рублей. Жила она эти послѣдніе годы то у родных, в деревнѣ, то в Липецкѣ, то на Кавказских водах, всюду ища облегченія от своих страданій. «Рак в груди довел свое разрушительное дѣло уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нея позѣ — на колѣнях». Так, на колѣнях, и писала она:

Любить меня иль нѣт, жалѣть иль не жалѣть
Теперь, о ближніе! вы можете по волѣ...

Послѣдніе дни свои она провела за переводом проповѣдей Блэра и за непрестанным чтеніем книг священнаго писанія. Скончалась 4 декабря 1829 года, в селѣ Денисовкѣ, Рязанской губерніи, у своего племянника Д. М. Бунина. Тѣло ея погребено в ея родном селѣ Урусовѣ. На могилѣ ея, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобноленный П. П. Семеновым-Тянь-Шанским. В его мемуарах приводится милая надпись, сдѣланная ему А. П. на переводѣ проповѣдей Блэ-

ра, на книжечкѣ в красном сафьяновом переплетѣ:

«Дорогому Петинькѣ Семенову в чаяніи его достославной возмужалости».

1932 г.

ЭРТЕЛЬ

Он теперь почти забыт, а для большинства и совсѣм неизвѣстен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвенiе. Кто забыл его друзей и современников, — Гаршина, Успенскаго, Короленко, Чехова? А вѣдь в общем он был не меньше их, — за исключенiем, конечно, Чехова, — в нѣкоторых отношенiях даже больше.

Двадцать лѣт тому назад, в Москвѣ, в чудесный морозный день, я сидѣл в его кабинетѣ, в залитой солнцем квартирѣ на Воздвиженкѣ и, как всегда при встрѣчах с ним, думал:

— Какая умница, какой талант в каждом словѣ, в каждой усмѣшкѣ! Какая смѣсь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистаго англичанина и воронежскаго прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном англiйском костюмѣ, на котором нѣт ни единой пушинки, и бѣлоснѣжное бѣлье, и крупныя с рыжеватыми волосами руки, и висячiе русые усы, и голубые меланхолическiе глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающiй солнцем, чистотой, комфортом! Как повѣрить, что этот самый человѣк в юности двух слов не умѣл связать в самом невзыскательном

уѣздном обществѣ, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелѣпѣйшими орфографическими ошибками?

В этой-же самой квартирѣ он вскорѣ и умер — от разрыва сердца.

Через год послѣ того вышли в свѣт семь томов собранія его сочиненій (разсказов, повѣстей и романов) и один том писем. К роману «Гарденины» было приложено предисловіе Толстого. К письмам — его автобіографія и статья Гершензона: «Міровоззрѣніе Эртеля».

Толстой писал о «Гардениных», что, «начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел нѣкоторых мѣст по нѣсколько раз». Он писал:

«Главное достоинство, кромѣ серьезнаго отношенія к дѣлу, кромѣ такого знанія народнаго быта, какого я не знаю ни у одного писателя, — неподражаемое, невстрѣчаемое нигдѣ достоинство этого романа есть удивительный по вѣрности, красотѣ, разнообразію и силѣ народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его вѣрен, силен, красив, он безконечно разнообразен. Старик дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, дѣвки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всѣх русских писателей, да еще каких вѣрных, хороших, сильных, нигдѣ, кромѣ как в народѣ, не употребляемых слов. И нигдѣ эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хо-

чет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком...»

Это знаніе народа станет вполнѣ понятно, когда просмотришь автобіографію Эртеля.

— Я родился, говорит он, 7 іюля 1855 года. Дѣд мой был из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армію Наполеона и под Смоленском был взят в плѣн, а затѣм увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскорѣ перешел в православіе, женился на крѣпостной дѣвушкѣ, приписался в воронежскіе мѣщане и всю послѣдующую жизнь прожил управляющим в господских имѣніях. Эту же должность наслѣдовал и отец мой, тоже женившійся на крѣпостной. Человѣк он был весьма мало образованный, но любил читать, — преимущественно историческія книги, — и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философіи; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусскаго крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонскаго помѣщика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности и даже мечтательнаго романтизма...

— Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатныя буквы. Затѣм мой крестный, тот помѣщик Савельев, у котораго отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себѣ в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварнаго театра в Парижѣ, почти совсѣм не говорила по русски, очень скучала и

привязалась ко мнѣ как к игрушкѣ, рядила меня, кормила лакомствами... Впрочем все это длилось недолго. Отец посорился с Савельевым, потерял мѣсто — и я был обращен в «первобытное состояніе». Тогда мы почти год бѣдствовали на квартирѣ у одного знакомаго мужика, пока отец не снял в аренду хутор...

— Я пользовался совершенной свободой дѣлать, что мнѣ угодно: играть с деревенскими ребятами, читать когда и что захочу... Когда отец взялся «пріучать меня к хозяйству», мнѣ было 13 лѣт. Я в то время знал четыре правила арифметики, «Исторію Наполеона», «Кощея Безсмертнаго», «Путешествіе Пифагора», «Стеньку Разина» Костомарова, второй том «Музея иностранной литературы», «Пѣсни Кольцова», «Сочиненія Пушкина», старинный конскій лечебник, священную исторію с картинками, комедію Чадаева «Дон Педро Прокодурнате». Затѣм я самоучкой выучился читать по церковному и нѣсколько раз перечитал «Кіевскій Патерик» и нѣсколько книг Четьи-Минеи... Лѣт шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочиненіями Дарвина «О происхожденіи человѣка» и книжками «Русскаго Слова», в которых я с огромным увлеченіем прочитал статьи Писарева...

— Отец сдѣлал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался за-панибрата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и дѣйствительно раза три бил... Я был свой человѣк в застольной, в конюшнях, в деревнѣ «на улицѣ», на посидѣлках, на свадьбах, вездѣ, гдѣ собирался молодой деревенскій народ... Отец рѣшил, наконец, что мои дружественныя и фамильярныя отношенія

с деревней положительно мѣшают мнѣ обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себѣ должность гдѣ нибудь в другом мѣстѣ; и вскорѣ послѣ того я занял должность конторщика в одном сосѣднем имѣніи... Желѣзную дорогу я увидал в первый раз, когда мнѣ стало шестнадцать лѣт; Москву и Петербург — двадцати трех...

Дальнѣйшее довольно типично для того времени, для самоучки, «рвущагося к свѣту, к прогрессу»: новое знакомство с новым чудаком купцом, который «посреди грязи и пошлости торговаго люда» был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтенію; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитіем молодого «дикаря» и с которой вскорѣ завязался «книжный роман», кончившіися свадьбой; затѣм попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены имѣньицѣ и крушеніе этой попытки, — «я, считавшійся дѣльным хозяином в чужом богатом имѣніи, оказался никуда не годным в своем маленьком»,— и наконец переѣзд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как-то заѣхавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в средѣ наиболѣе «передовых» представителей тогдашней литературы, жизни в такой бѣдности, что у молодого писателя вскорѣ обнаружились задатки чахотки, и с таким увлеченіем «передовыми» идеями, что пришлось даже посидѣть в Петропавловской крѣпости, а потом пожить в ссылкѣ в Твери. Однако, типичность эта тут и кончается. Совсѣм не типичной оказалась быстрота развитія этого «дикаря», быстрота превращенія его в настоящаго культурнаго человѣка, его необычайный

духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремленій, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тѣм, что полагалось имѣть всѣм этим Засодимским, Златовратским. «Даже и в пору увлеченія Засодимским, говорит Эртель, меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умѣл я и людей узнавать лучше его — этому помогало мои занятія хозяйством, дѣловыя отношенія с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сѣтованьями о его нуждѣ, печалях, с увлеченіем туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства...»

Этот-то «здравый смысл» (если уж употребять столь чрезмѣрно скромное выраженіе) и сдѣлал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой, как в жизни, так и в литературѣ. Гершензон совершенно справедливо говорит, что «нельзя вообразить себѣ болѣе рѣзкаго контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенціи восьмидесятых годов». Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время болѣе или менѣе типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскорѣ она опять стала (даже и внѣшне) чрезвычайно не похожа на таковую: послѣ Твери Эртель только временами живал в столицах или заграницей, — он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству и почти до самаго своего конца отдавал ему половину всѣх своих сил, сперва арендуя лично

для себя клочек земли на родинѣ, а затѣм управляя огромнѣйшими и богатѣйшими барскими имѣніями (одно время даже сразу нѣсколькими, разбросанными в цѣлых девяти губерніях, то есть «цѣлым царством», как писал он мнѣ однажды).

Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явленіем «замѣчательным», что міровозрѣніе его «представляет собой чрезвычайно оригинальную и цѣнную систему идей». Сила мышленія Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит «практическому разуму». Эртель был прежде всего человѣком дѣла. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем дѣлателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смѣнѣ явленій и дѣйствій. И вот этим-то и опредѣлялся характер его міровоззрѣнія.

Все это міровоззрѣніе есть отвѣт на двойственный вопрос: что позволяет сдѣлать жизнь и чего она требует? Вопрос об изначальной силѣ, движущей мір, и о конечной цѣли этого движенія Эртель оставлял без разсмотрѣнія.

Он, однако, не был раціоналистом. Напротив, как раз живое чутье дѣйствительности научило его тому, что в основѣ всего видимаго есть элемент невидимый, но не менѣе реальный, и что не учитывать его в практических разсчетах значит рисковать ошибочностью всѣх разсчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой безсмысленостью.

Он думал, что жизнь рѣзко распадается на явленія двух родов: на зависящія исключительно от воли «Великаго Неизвѣстнаго, котораго мы называем Богом», то есть на такія, к кото-

рым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящія от нашей воли и устранимыя, по отношенію к которым борьба умѣстна и необходима.

Он вѣрил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществленіе ея, любил говорить: «В мѣру, друг, в мѣру!» — то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход исторіи. Безусловное пониманіе добра и зла и условное дѣйствіе в осуществленіи перваго и в борьбѣ с послѣдним — вот что нужно для всякой дѣятельности, в том числѣ для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповѣдывал «умѣренность и аккуратность»? Рѣдко кто был менѣе умѣрен и аккуратен, чѣм он, вся жизнь котораго была страстной неумѣренностью, «вѣчным горѣніем в дѣлах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внѣшней и внутренней гармоніи». Он сам нерѣдко жаловался: «Все не удается возстановить в своей жизни равновѣсія... То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гнѣвом к другим, что просто бѣда...» И дальше (говоря о своем участіи в помощи голодающим, которой он в началѣ девяностых годов отдавался цѣлых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственныя дѣла и оказался в настоящей нищетѣ): «Еще раз узнал, что могу, до самозабвенія, до полнѣйшаго упадка сил увлекаться так называемой общественной дѣятельностью...»

Он сурово осуждал русскую интеллигенцію и прежде всего с практической точки зрѣнія. Он говорил, что ея вѣчный протест, обусловленный только «нервическим раздраженіем» или

«лирическим отношеніем к вещам», безсилен, не ведет к цѣли, ибо пафос сам по себѣ не есть какая-либо сущность, а только форма проявленія, сущностью же всякой борьбы является личное религіозно-философское убѣжденіе протестующаго и затѣм — пониманіе исторической дѣйствительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться ученіем Христа, «который костью стал в горлѣ господ Михайловских», без чего невозможно религіозная культура личности, а второе — глубокая и серьезная культура и историческій такт. Он говорил: «Всякія «Забытыя слова» оттого вѣдь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами... Несчастье нашего поколѣнія заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религіи, к философіи, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль... Людям, кромѣ политических форм и учрежденій, нужен «дух», вѣра, истина, Бог... Ты скажешь: а все же умѣли умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случаѣ побѣды может принести болѣе зла, нежели добра... О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он отнюдь не менѣе горек, если проистекает от «Феденьки», а не от Побѣдоносцевых. Воображаю, что натворили бы «Феденьки» на мѣстѣ Побѣдоносцевых! Что до нашего отношенія к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кромѣ той нравственной нормы, которою вообще должны опредѣляться отношенія между людьми, то есть закона любви, установленнаго Христом...»

«Мнѣ думается, писал он в своей записной

книжкѣ, возражая Толстому, послѣдователем котораго он был во многом, я думаю, что раздать имѣніе нищим — не вся правда. Нужно, чтобы во мнѣ и в дѣтях моих сохранилось то, что есть добро: знаніе, образованность, цѣлый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наслѣдственной. Отдавши имѣніе, отдам ли я дѣйствительно все, чѣм я обязан людям? Нѣт, благодаря чужому труду, я, кромѣ имѣнія, обладаю еще многим другим и этим многим должен дѣлиться с ближним, а не зарывать его в землю...»

Вообще безусловное пониманіе истины и условное осуществленіе ея — один из завѣтных тезисов Эртеля. Всѣм существом он чувствовал, что прямолинейная принципіальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссѣ, что полное самоотреченіе такая же нелѣпость, как и всякое безусловное осуществленіе истины. «Любить одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебѣ справедливости, которая не позволяет зарѣзать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той серединѣ, гдѣ росток личной жизни цвѣтет и зрѣет в полной силѣ, не заглушая вмѣстѣ с тѣм любви ко всему живущему...»

Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внѣшней дѣятельности, по свободѣ и ясности ума и широтѣ сердца человѣк слишком рано — всего 52 лѣт от роду. И перед смертью уже глубоко вѣрил, что «смысл всѣх земных страданій открывается там». В отрочествѣ он пережил пору страстнаго религіознаго чувства. Затѣм эти чувства смѣнились «сомнѣ-

ніями, попытками утвердить, на мѣстѣ все растущаго невѣрія, вѣру в добро, в революціонныя и народническія ученія, в ученіе Толстого... Но неизмѣнно все перемѣщалось в моей натурѣ». Он во многом и навсегда остался «другом всяческих свобод» и вообще интеллигентом своего времени. И всетаки жизнь являлась ему «все в новом и новом освѣщеніи». Добро? Но оказалось, что слово это «звучало слишком пусто» и что нужно было «хорошенько подумать над ним». Народничество? Но оказалось, что «народническія грезы суть грезы и больше ничего... Вот организовать (внѣ всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с цѣлью помощи всяческим крестьянским нуждам — это другое дѣло... Русскому народу и его интеллигенціи, прежде всяких попыток осуществленія «царства Божія», предстоит еще создать почву для такого царства, словом и дѣлом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт... Соціализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, гдѣ проселочныя дороги обсажены вишнями и вишни бывают цѣлы? Там, гдѣ посадили простую, жалкую ветелку и ее выдернут просто «так себѣ» и гдѣ для сокращенія пути на пять саженей проѣдут на телѣгѣ по великолѣпной ржи, — не барской, а крестьянской, — там может быть Разовщина, Пугачевщина, все, что хочешь, но не соціализм. А потом — что такое соціализм? Жизнь, друг мой, нельзя ввести в оглобли! Революція? Но к революціи в смыслѣ насилія я чувствую органическое отвращеніе... В каждом революціонном разрушеніи есть грубое разрушеніе не матеріальнаго только, а святынь жизни... Да и что такое матеріальное?

Истребленіе «Вишневых садов» озвѣрѣлой толпой возмутительно, как убійство... Вѣдь еще Герцен сказал, что иныя вещи несравненно болѣе жалко терять, нежели иных людей... Толстой? Но всѣх загнать в Өиваиду — значит оскопить и обезцвѣтить жизнь... Нельзя всѣм предписать земледѣльческій труд, жестокое непротивленіе злу, самоотреченіе до уничтоженія личности... Сводить всю свою жизнь до роли «самаритянской» я не хочу... Не было бы тѣни — не было бы борьбы, а что же прекраснѣе борьбы! Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами...» Но идут годы — и что же говорит этот народолюбец? «Нѣт, никогда еще я так не понимал Некрасовскаго выраженія «любя ненавидѣть», как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной дѣйствительности, в прелестях русскаго неправдоподобно жестокаго быта... Народ русскій — глубоко несчастный народ, но и глубоко скверный, грубый и, главное, лживый, лживый дикарь... Считают, что при Александрѣ Втором всячески погублено нѣсколько тысяч революціонеров, но вѣдь если бы дали волю «подлинному народу», он расправился бы с этими тысячами на манер Ивана Грознаго... Безвѣріе? Но человѣк без религіи существо жалкое и несчастное... Золотые купола и благовѣст — форма великой сущности, живущей в каждой человѣческой душѣ...» И вот — послѣднія признанія, не задолго до смерти:

«Страшныя тайны Бога не доступны моему разсудочному пониманію...»

«Вѣрую, что смысл жизненных страданій и смерти откроется там...»

«Горячо вѣрую, что жизнь наша не кончается здѣсь и что в той жизни будет разрѣшеніе всѣх мучительных загадок и тайн человѣческаго существованія...»

1929 г.

ВОЛОШИН

Максимиліан Волошин был одним из наиболѣе видных поэтов предреволюціонных и революціонных лѣт Россіи и сочетал в своих стихах многія весьма типичныя черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлеченіе европейской поэзіей конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, их политическую «смѣну вѣх» (в зависимости от того, что было выгоднѣе в ту или иную пору); был у него и другой грѣх: слишком литературное воспѣваніе самых страшных, самых звѣрских злодѣяній русской революціи.

Послѣ его смерти появилось не мало статей о нем, но сказали онѣ в общем мало новаго, мало дали живых черт его писательскаго и человѣческаго облика, нѣкоторыя же просто ограничились хвалами ему да тѣм, что пишется теперь чуть не поголовно обо всѣх, которые в стихах и прозѣ касались русской революціи: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущаго русскаго катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случаѣ только нѣкотораго знанія начальных учебников русской исторіи. Наиболѣе интересныя замѣчанія о нем я прочел в статьѣ А. Н. Бенуа, в «Послѣдних Новостях»:

«Его стихи не внушали того к себѣ довѣрія, безъ котораго не может быть подлиннаго восторга. Я «не совсѣм вѣрил» ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самыя вершины человѣческой мысли... Но влекло его к этим восхожденіям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Нѣкоторую иронію я сохранил в отношеніи к нему навсегда, что вѣдь не возбраняется и при самой близкой и нѣжной дружбѣ... Близорукій взор, прикрытый пенснэ, странно нарушал все его «зевсоподобіе», сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее... Он с удивительной простотой душевной не то «медузировал», не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымѣл наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличеній и трагических ламентацій, читать перед лицом совѣтских идеологов и вершителей. И сошло это, вѣроятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез...»

Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших послѣдних встрѣч в Одессѣ, зимой и весной девятнадцатаго года, не близко.

Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрѣпнет его стихотворный талант, так разовьется внѣшне и внутренно. Тогда были они особенно характерны для его «влеченія к словам»:

— Мысли с рыданьями вѣтра сплетаются,
Поѣзд гремит, перегнать их старается,
Так вот в ушах и долбит и стучит это:

Титата, тотата, татата, титата...
— Из страны, гдѣ солнца свѣт
Льется с неба жгучь и ярок,
Я привез себѣ в подарок
Пару звонких кастаньет...
— Склоняясь ниц, овѣян ночи синью,
Довѣрчиво ищу губами я
Сосцы твои, натертые полынью,
О, мать-земля!

Помню наши первыя встрѣчи, в Москвѣ. Он уже был тогда замѣтным сотрудником «Вѣсов», «Золотого Руна». Уже и тогда очень тщательно «сдѣлана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темнорус, кудряв и бородат: из всего этого он, не взирая на пенснэ, ловко сдѣлал нѣчто довольно живописное на манер русскаго мужика и античнаго грека, что-то бычье и вмѣстѣ с тѣм круторого-баранье. Пожив в Парижѣ, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себѣ в обращеніи с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смѣшную граціозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого дѣйствительно были присущи его натурѣ. Как почти всѣ его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду, гдѣ угодно и в любом количествѣ, при малѣйшем желаніи окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстыя плечи, свою и

без того высоко поднятую грудную клѣтку, на которой обозначались под блузой почти женскія груди, дѣлал лицо олимпійца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающійся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собесѣднику — и осторожное, но неутомимое сладострастіе аппетита, если дѣло было в гостях, за чаем или ужином...

Помню встрѣчу с ним в концѣ 1905 года, тоже в Москвѣ. Тогда чуть не всѣ видные московскіе и петербургскіе поэты вдруг оказались страстными революціонерами, — при большом, кстати сказать, содѣйствіи Горькаго и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время перваго большевицкаго возстанія, Горькій крѣпко сидѣл в своей квартирѣ на Воздвиженкѣ, никогда не выходя из нея ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с ног до головы студентов-грузин, всѣх увѣряя, будто на него готовится покушеніе со стороны крайних правых, но вмѣстѣ с тѣм день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, — пріятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства нѣкоего Скирмунта и которая сразу же плѣнила поэта Брюсова, еще лѣтом того года требовавшаго водруженія креста на св. Софіи и произносившаго монархическія рѣчи, затѣм Минскаго с его гимном: «Пролетаріи всѣх стран, соединяйтесь!» — и не мало прочих. Волошин в «Борьбѣ» не печатался, но именно гдѣ-то тут, — не то у Горькаго, не то у Скирмунта,— услы-

шал я от него тогда тоже совѣсм новыя для него пѣсни:

Народу русскому: я скорбный *Ангел Мщенья!*
Я в раны черныя, в распахнутую новь
Кидаю сѣмена. Прошли вѣка терпѣнья,
И голос мой — набат! Хоругвь моя, как кровь!

Помню еще встрѣчу с его матерью, — это было у одного писателя, я сидѣл за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лѣт пятидесяти, с сѣдыми стриженными волосами, в русской рубахѣ, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смѣхотворная личность? Помню всякіе слухи о нем: что он, съѣзжаясь за границей с своей невѣстой, назначает ей первыя свиданія непремѣнно гдѣ-нибудь на колокольнѣ готическаго собора; что живя у себя в Крыму, он ходит в одной «туникѣ», проще говоря, в одной длинной рубахѣ без рукавов, очень, конечно, смѣшно при его толстой фигурѣ и коротких волосатых ногах... К этой порѣ относится та автобіографическая замѣтка его, автограф которой был воспроизведен в «Книгѣ о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, — строки мѣстами тоже довольно смѣшныя:

«Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.

Я родился в Кіевѣ 16 мая 1877 года, в *день Святого Духа.*

Событія жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатлѣніе — Таганрог и Севастополь; сознательное бытіе — окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерскія желѣзной дороги; отрочество — лѣса под Звенигородом; пятнадцати лѣт — Коктебель в Крыму, — самое цѣнное и важное на всю жизнь; двадцати трех — Средне-азіатская пустыня — пробужденіе самопознанія; затѣм Греція и всѣ побережья и острова Средиземнаго моря — в них обрѣтенная родина духа; послѣдняя ступень — Париж — сознаніе ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лѣт, с семи Достоевскій и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французскіе поэты и Анатоль Франс; книги послѣдних лѣт: Багават-Гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де-Лилль Адан — Индія и Франція.

Люди: лишь за послѣдніе годы они стали занимать в жизни больше мѣста, чѣм страны и книги. Имена их не назову...

Стихи я начал писать тринадцати лѣт, рисовать двадцати четырех...»

В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотвореніе из времен французской революціи, гдѣ тоже немало ударно-эстрадных слов;

> Это гибкое, страстное тѣло
> Растоптала ногами толпа мнѣ...

Потом было слышно, что он участвует в построеніи гдѣ-то в Швейцаріи какого-то антропософскаго храма...

Зимой девятнадцатаго года он пріѣхал в

Одессу из Крыма, по приглашенію своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По пріѣздѣ тотчас же проявил свою обычную дѣятельность,— выступал с чтеніем своих стихов в Литературно-Художественном Кружкѣ, затѣм в одном частном клубѣ, гдѣ почти всѣ проживавшіе тогда в Одессѣ столичные писатели читали за нѣкоторую плату свои произведенія среди пивших и ѣвших в залѣ перед ними «недорѣзанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных дѣлах и людях как древней Россіи, так и современной, большевицкой. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед и в писаніи стихов и в чтеніи их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с нѣкоторым негодованіем; какое, что называется, «великолѣпное», самоупоенное и, по обстоятельствам мѣста и времени, кощунственное словоизверженіе!— и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в концѣ концов похож он? Вид как будто грозный, пенснэ строго блестит, в тѣлѣ все как-то поднято, надуто, концы густых волос, раздѣленных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленькій ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крѣпостных времен? Пріап? Кашалот? — Потом мы встрѣтились на вечерѣ у Цетлиных, и опять это был «милѣйшій и добрѣйшій Максимиліан Александрович». Присмотрѣвшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже нѣсколько огрубѣла, отяжелѣла, но движенія по прежнему легки, живы; когда перебѣгает через комнату, то перебѣгает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и мно-

го, весь так и сіяет общительностью, благорасположеніем ко всему и ко всѣм, удовольствіем от всѣх и от всего — не только от того, что окружает его в этой свѣтлой, теплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромнаго и страшнаго, что совершается в мірѣ вообще и в темной, жуткой Одессѣ в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одѣт при этом очень бѣдно — так уже истерта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпѣл в ту пору очень большую.

Дальше беру (в сжатом видѣ) кое-что из моих тогдашних замѣток:

— Французы бѣгут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессѣ, в их квартирѣ. Очень возбужден, както особенно бодр, легок. Вечером встрѣтил его на улицѣ: «Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартирѣ Цетлиных общежитіе поэтов и поэтесс. Надо дѣйствовать, не надо предаваться унынію!»

— Волошин часто сидит у нас по вечерам. Попрежнему мил, оживлен, весел. «Бог с ней с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портретѣ Савинкова отличная черта — сравненіе его профиля со профилем лося.

Как всегда говорит без умолку, затрагивая множества самых разных тем, только дѣлая вид, что интересуется собесѣдником. Конечно, восхищается Блоком, Бѣлым и тут же Анри-де-Ренье, котораго переводит.

Он антропософ, увѣряет, будто «люди суть ангелы десятаго круга», которые приняли на се-

бя облик людей вмѣстѣ со всѣми их грѣхами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человѣкѣ сокрыт ангел...

— Спасаем от реквизиціи особняк нашего друга, тот, в котором живем, — Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участіе. Выдумал, что у нас будет «Художественная нео-реалистическая школа». Бѣгает за разрѣшеніем на открытіе этой школы, в пять минут написал для нея замысловатую вывѣску. Сыплет сентенціями: «В архитектурѣ признаю только готику и греческій стиль. Только в них нѣт ничего, что украшает».

— Одесскіе художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессіональный союз вмѣстѣ с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: «Надо возвратиться к средновѣковым цехам!»

— Засѣданіе (в Художественном Кружкѣ) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организаціи профессіональнаго союза». Очень людно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бѣгает, сіяет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидкѣ и с висящей за плечом шляпой, — ея шнур прицѣплен к крючку накидки, — быстро и граціозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикій крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К чорту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за совѣтскую власть!» Особенно безчинствуют Катаев, Багрицкій, Олеша. Затѣм вся орава «в знак протеста» покидает

зал. Волошин бѣжит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!»

— Часовая стрѣлка переведена на два часа двадцать пять минут вперед, послѣ девяти запрещено показываться на улицѣ. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть нѣкоторый запас сала и спирта, он ѣст жадно и с наслажденіем и все говорит, говорит и все на самыя высокія и трагическія темы. Между прочим, из его рѣчей о масонах ясно, что он масон, — да и как бы он мог при его любопытствѣ и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое сообщество?

— Большевики приглашают одесских художников принять участіе в украшеніи города к первому мая. Нѣкоторые с радостью хватаются за это приглашеніе: от жизни, видите-ли, уклоняться нельзя, кромѣ того «в жизни самое главное — искусство и оно внѣ политики». Волошин тоже загорается рвеніем украшать город, фантазирует, как надо это сдѣлать: хорошо, напримѣр, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанныя ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городѣ, который он собирается украшать, уже нѣт ни воды, ни хлѣба, идут безпрерывныя облавы, обыски, аресты, разстрѣлы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мнѣ в отвѣт опять о том, что в каждом из нас, даже в убійцѣ, в кретинѣ *сокрыт страждущій Серафим*, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы пріять распятіе, горѣніе, из коего возникают какіе-то прокаленные и просвѣтленные лики...

— Я его не раз предупреждал: не бѣгайте

къ большевикамъ, они вѣдь отлично знаютъ, съ кѣмъ вы были еще вчера. Болтаетъ въ отвѣтъ то же, что и художники: «Искусство внѣ времени, внѣ политики, я буду участвовать въ украшеніи только какъ поэтъ и какъ художникъ». — «Въ украшеніи чего? Собственной висѣлицы?» — Всетаки побѣжалъ. А на другой день въ «Извѣстіяхъ»: «Къ намъ лѣзетъ Волошинъ, всякая сволочь спѣшитъ теперь примазаться къ намъ...» Волошинъ хочетъ писать письмо въ редакцію, полное благороднаго негодованія...

— Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывалъ. Не хотѣлъ и слушать: «Не могутъ не напечатать, обѣщали, я былъ уже въ редакціи!» Но напечатали только одно: «Волошинъ устраненъ изъ первомайской художественной комиссіи». Пришелъ къ намъ и горько жаловался: «Это мнѣ напоминаетъ тотъ случай, когда ни одна изъ газетъ, травившихъ меня за то, что я публично развѣнчалъ Рѣпина, не дала мнѣ мѣста отвѣтить на эту травлю!»

— Волошинъ хлопочетъ, какъ бы ему выбраться изъ Одессы домой, въ Крымъ. Вчера прибѣжалъ къ намъ и радостно разсказалъ, что дѣло устраивается и, какъ это часто бываетъ, черезъ хорошенькую женщину. «У нея реквизировалъ себѣ помѣщеніе предсѣдатель Чека Сѣверный, Геккеръ познакомила меня съ ней, а она — съ Сѣвернымъ». Восхищался и имъ: «У Сѣвернаго кристальная душа, онъ многихъ спасаетъ!» — «Приблизительно одного изъ ста убиваемыхъ?» — «Все же это очень чистый человѣкъ...» И, не удовольствовавшись этимъ, имѣлъ жестокую наивность разсказать мнѣ еще то, что Сѣверный простить себя не можетъ, что выпустилъ изъ своихъ рукъ Колчака, ко-

торый будто бы попался ему однажды в руки крѣпко...

— Помогают Волошину пробраться в Крым еще и через «морского комиссара и командующаго черноморским флотом» Нѣмица, который, по словам Волошина, тоже поэт, «особенно хорошо пишет рондо и тріолеты». Выдумывают какую-то тайную большевицкую миссію в Севастополь. Бѣда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Нѣмица состоит, кажется, из одного паруснаго дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уѣхал из Одессы (на этом самом дубкѣ) в началѣ мая. Уѣхал со спутницей, которую называл Татидой. Вмѣстѣ с нею провел у нас послѣдній вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидѣли мы в полутьмѣ, при самодѣльном ночникѣ,— электричества не позволяли зажигать, — угощали отъѣзжающих чѣм-то очень жалким. Одѣт он был уже по дорожному — матроска, берэт. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на всѣ случаи: на случай большевицкаго обыска при выходѣ из одесскаго порта, на случай встрѣчи в морѣ с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессѣ знакомства и во французских командных кругах и в добровольческих. Все же всѣ мы, в том числѣ и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдет это плаваніе на дубкѣ до Крыма... Бесѣдовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на разсвѣтѣ наши путешественники должны были быть уже на дубкѣ. Прощаясь, взволновались,

обнялись. Но тут Волошин почему то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидѣл с Алексѣем Толстым в кофейнѣ Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше — и притом с самыми серьезными, почти звѣрскими лицами, — надуваться, затѣм так же медленно выпускать дыханіе и как вокруг них начала собираться удивленная, непонимающая, в чем дѣло, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвѣженка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпаторіи:

«Пока мы благополочуно добрались до Евпаторіи и второй день ждем поѣзда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косѣ, день в Очаковѣ, ожидая вѣтра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без вѣтра, во время мертвой зыби, были обстрѣляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных цѣлую ночь по степям и гніющим озерам, а теперь застряли в грязнѣйшей гостиницѣ, ожидая поѣзда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнѣйших человѣческих документов... Очень пріятно вспоминать послѣдній вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехорошій одесскій період».

В ноябрѣ того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как-бы отвѣтом на мои мысли.

Мои приключенія только и начались с выѣздом из Одессы. Мои большевицкія знакомства

и встрѣчи развивались по дорогѣ от матросов-развѣдчиков до «командарма», который меня привез в Симферополь в собственном вагонѣ, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидѣл у себя в мастерской под артиллерійским огнем: первый десант добровольцев был произведен в Коктебелѣ и дѣлал его «Кагул», со всею командой котораго я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня послѣ освобожденія Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненнаго в большевизмѣ, которому грозил разстрѣл, и один, без всяких знакомств и связей, добился таки его освобожденія. Этого мнѣ не могут простить теперь ѳеодосійцы, и я сейчас здѣсь живу с репутаціей большевика и на мои стихи смотрят как на большевицкіе.

Кстати: первое изданіе «Демонов глухонѣмых» распространялось в Харьковѣ большевицким «Центрагом», а теперь ростовскій (добровольческій) «Осваг» взял у меня нѣсколько стихотвореній из той же книги для распространеній на летучках. Только в іюлѣ мѣсяцѣ я наконец вернулся домой и сѣл за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Всѣ написанные лѣтом я переслал Гросману для одесских изданій. Поэтому относительно моих стихотвореній на общественныя темы спросите его, а я посылаю вам пока для «Южнаго Слова» два прошлогодних, лирических, еще нигдѣ не появлявшихся, и двѣ небольших статьи: «Пути Россіи» и «Самогон крови». Сейчас уже два мѣсяца работаю над большой поэмой о св. Серафимѣ, весь в этом напряженіи и неувѣренности,

одолѣю ли эту грандіозную тему. Он должен составить диптих с «Аввакумом».

Зимовать буду в Коктебелѣ: этого требует и работа личная и сумасшедшія цѣны, за которыми никакіе гонорары угнаться не могут. Кстати о гонорарѣ: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если «Южное Слово» за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мнѣ бы очень хотѣлось, И. А., чтобы вы прочли всѣ мои новые стихи, что у Гросмана: я в них сдѣлал попытку подойти болѣе реалистически к современности (в циклѣ «Личины», стих.: Матрос, Красногвардеец, Спекулянт и т. д.) и мнѣ бы очень хотѣлось знать ваше мнѣніе.

Я еще до сих пор переполнен впечатлѣніями этой зимы, весны и лѣта: мнѣ дѣйствительно удалось пересмотрѣть всю Россію во всѣх ея партіях и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всѣми мнѣ удалось провести нѣсколько интимных часов в их собственной обстановкѣ...»

Это письмо было для меня послѣдней вѣстью о нем.

Теперь уже давно нѣт его в живых. Ни революціонером, ни большевиком он, конечно, не был, но, повторяю, вел себя все же очень странно.

Вот девятнадцатый год: этот год был одним из самых ужасных в смыслѣ большевицких злодѣяній. Тюрьмы Чека были по всей Россіи переполнены, — хватали кого попало, во всѣх подозрѣвая контр-революціонеров,— каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей

на темныя улицы, стаскивали с них обувь платья, кольца, кресты, дѣлили меж собою. Гнали разутых, раздѣтых по ледяной землѣ, под зимним вѣтром, за город, на пустыри, освѣщали ручным фонарем... Минуту работал пулемет, потом валили, часто недобитых, в яму, кое как заваливали землей... Кѣм надо было быть, чтобы бряцать об этом на лирѣ, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А вѣдь Волошин бряцал:

Носят ведрами спѣлыя гроздья,
Валят ягоды в глубокій ров...
Ах, не гроздья носят, юношей гонят
К черному точилу, давят вино!

Чего стоит одно это томное «ах!» Но он заливался еще слаще:

Вѣйте, вѣйте, снѣжныя стихіи,
Замѣтайте древніе гроба!

То есть: канун вам да ладан, милые юноши, гонимые «к черному точилу»! По человѣчеству жаль вас, конечно, но что ж подѣлаешь, вѣдь убійцы чекисты суть «снѣжныя, древнія стихіи»:

Вѣрю в правоту верховных сил,
Расковавших древнія стихіи,
И из нѣдр обугленной Россіи
Говорю: «Ты прав, что так судил!»
Надо до алмазнаго закала
Прокалить всю толщу бытія,
Если ж дров в плавильнѣ мало, —
Господи, вот плоть моя!

Страшнѣй всего то, что это было не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессѣ весной девятнадцатаго года, когда «черное точило», — или, не столь кудряво говоря, Чека на Екатерининской площади, — весьма усердно «прокаляла толщу бытія», он часто читал мнѣ стихи на счет то «снѣжной», то «обугленной» Россіи, а тотчас послѣ того свои переводы из Анри де Ренье, потом опять пускался в оживленное антропософическое краснорѣчіе. И тогда я тотчас говорил ему:

— Максимиліан Александрович, оставьте все это для кого-нибудь другого. Давайте лучше закусим: у меня есть сало и спирт.

И нужно было видѣть, как мгновенно обрывалось его краснорѣчіе и с каким аппетитом уписывал он, несчастный, голодный, сало, совсѣм забывши о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случаѣ надобности.

1930 г

«ТРЕТІЙ ТОЛСТОЙ»

«Третій Толстой» — так не рѣдко называют в Москвѣ недавно умершаго там автора романов «Петр Первый», «Хожденія по мукам», многих комедій, повѣстей и разсказов, извѣстнаго под именем графа Алексѣя Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературѣ еще два Толстых, — граф Алексѣй Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грознаго «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьяго Толстого в Россіи и в эмиграціи. Это был человѣк во многих отношеніях замѣчательный. Он был даже удивителен сочетаніем в нем рѣдкой личной безнравственности (ни чуть не уступавшей, послѣ его возвращенія в Россію из эмиграціи, безнравственности его крупнѣйших соратников на поприщѣ служенія совѣтскому Кремлю) с рѣдкой талантливостью всей его натуры, надѣленной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой «совѣтской» Россіи, гдѣ только чекисты друг с другом совѣтуются, особенно много и во всѣх родах, начавши с площадных сценаріев о Распутинѣ, об интимной жизни убіенных царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по ни-

зости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным «совѣтским» писателем, но еще и тѣм, что был он всетаки граф да еще Толстой. Недаром «сам» Молотов сказал на каком то «Чрезвычайном восьмом съѣздѣ Совѣтов»:

«Товарищи! Передо мной выступал здѣсь всѣм извѣстный писатель Алексѣй Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывшій граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли совѣтской!»

Послѣднія слова Молотов сказал тоже недаром: вѣдь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого «великим писателем земли русской».

В эмиграціи, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и л а с к о в о, Алешей, и почти всѣ забавлялись им: он был веселый, интересный собесѣдник, отличный разсказчик, прекрасный чтец своих произведеній, восхитительный в своей откровенности циник; был надѣлен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и безпечным шалопаем, был ловкій рвач, но и щедрый мот, владѣл богатым русским языком, все русское знал и чувствовал как очень немногіе... Вел он себя в эмиграціи нерѣдко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых заглаза называл сволочью, и всѣ знали это и всетаки всѣ прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенснэ при слегка откинутой головѣ весьма помогало ему имѣть в случаях на-

добности высокомѣрное выраженіе; одѣт и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, всё мѣняя выраженіе лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком нибудь «салонѣ», сюсюкал как великосвѣтскій фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и даваясь, крякая, ѣл и пил много и жадно, в гостях напивался и объѣдался, по его собственному выраженію, до безобразія, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.

Был ли он дѣйствительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают свѣдѣнія о его родословной двусмысленно, неопредѣленно, — например, так:

«А. Н. Толстой родился в 1883 году, в бывшей самарской губерніи, и дѣтство провел в небольшом имѣніи второго мужа его матери, Алексѣя Бострома, который был образованным человѣком и матеріалистом...»

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году, в бывшей самарской губерніи...» Но гдѣ именно? В имѣніи графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, гдѣ прошло его дѣтство. Кромѣ того, полным молчаніем обходится всегда граф Николай Толстой, так, точно он и не существовал на свѣтѣ: полная неизвѣстность, что за человѣк он был, гдѣ жил, чѣм занимался, видѣлся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тѣм, кто весь свой вѣк носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился

изъ эмиграціи в Россію. Сам он за всѣ годы нашего с ним пріятельства и при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношенію ко мнѣ, тоже никогда, ни единым звуком не обмолвился о графѣ Николаѣ Толстом... За всѣм тѣм касаюсь я его родословной только по той причинѣ, что, до своего возвращенія в Россію, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им и в литературѣ и в жизни. Страсть ко всяческим житейским благам и к пріобрѣтенію их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россію, он в угоду Кремлю и совѣтской черни тотчас же принялся не только за писаніе гнусных сценаріев, но и за сочиненія пасквилей на тѣх самых буржуев, которых он объѣдал, опивал, обирал «в долг» в эмиграціи, и за нелѣпѣйшія измышленія о каких-то звѣрствах, которыми будто бы занимались в Парижѣ русскіе «бѣлогвардейцы».

Совершенно правильны, вѣроятно, свѣдѣнія о том, когда он родился и гдѣ прошло его дѣтство. Но что было дальше? По свидѣтельству его совѣтских біографій, снабженных его собственными автобіографическими показаніями, было вот что:

«В 1905 году, во время первой русской революціи, Толстой писал революціонные стихи. В слѣдующем году, когда царскіе сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нѣт...»

Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революціонные стихи — и вдруг выпустил всего через год послѣ того и как раз тогда,

«когда царскіе сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нѣчто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов», которую потом будто бы стал скупать и жечь!

Однако, даже и такія біографическія свѣдѣнія ничто перед тѣм, что слѣдует дальше:

«Первая міровая война поставила перед Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок...»

Поистинѣ только в Москвѣ можно лгать так глупо! Толстой — и «масса» вопросов, да еще «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастнаго, «масса» каких-то вопросов! А тут явились еще и новые, а кромѣ того и «мучительныя загадки». Лично я не раз бывал свидѣтелем того, как мучили его вопросы и загадки, гдѣ бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь «в долг» на портного, на обѣд в ресторанѣ, на плату за квартиру; но иных что-то не помню.

«В великую Октябрьскую революцію Толстой растерялся... Уѣхал в Одессу, зиму прожил там. Весною 1919 г. уѣхал в Париж. О жизни в эмиграціи он сам написал в своей автобіографіи так: «Это был самый тяжелый період в моей жизни...» В 1921 году он уѣхал из Парижа в Берлин и вошел в группу смѣновѣховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведеній о бѣлых эмигрантах, о совершенном одичаніи бѣлогвардейцев, о своей эмигрантской тоскѣ в Парижѣ... Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары бѣлогвардейских разстрѣлов и расправ... Он писал на родинѣ еще и сатирическія картины нравов капиталистической Америки, о которых геніально писал и великій совѣтскій поэт Маяковскій...»

Гдѣ все это напечатано? И на потѣху кому?

Напечатано в Москвѣ, в одном из главнѣйших совѣтских ежемѣсячных журналов, в журналѣ «Новый Мір», гдѣ сотрудничают знатнѣйшіе совѣтскіе писатели. И вот сидишь в Парижѣ и читаешь: «Совершенное одичаніе бѣлогвардейцев... Кошмары бѣлогвардейских расправ и разстрѣлов...» Но отчего же это так страшно одичали бѣлогвардейцы больше всего в Парижѣ? И с кѣм именно они расправлялись и кого разстрѣливали? И почему французское правительство с м о т р ѣ л о сквозь пальцы на эти парижскіе кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно был все-таки очарован им нѣкоторое время: странно потому, что вѣдь вот уж сколько лѣт прошло с тѣх пор, как он разочаровался и от бѣлогвардейских кошмаров рѣшил бѣжать в Россію, гдѣ теперь никакіе сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, гдѣ никто ни с кѣм не расправляется, никого не разстрѣливают, а Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое «предсмертное» веселье во времена пребыванія в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерическаго разврата в весельи и роскоши: так по крайней мѣрѣ утверждает нѣкто Юрій Жуков, парижскій корреспондент Москвы, напечатавшій в другом московском ежемѣсячникѣ, в журналѣ «Октябрь», статью под заглавіем «На западѣ послѣ войны»: этот Жуков сообщает, что по Большим парижским будьварам то и дѣло проходят францисканскіе монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, и с утра до вечера «фланируют завитые и напомаженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах». Этот Жуков и

про меня зачѣмъ-то солгал: будто я «маленькій, сухонькій, со скрипучим голосом и с лицом рафинированаго эстета». Когда-то в Россіи говорили: «Врет как сивый мерин». Далекія наивныя времена! Теперь, послѣ тридцатилѣтняго, неустаннаго, ежедневнаго упражненія «Совѣтов» во лжи, даже самый жалкій совѣтскій Жуков сто очков дает вперед любому сивому мерину! Сам Толстой, конечно, помирал со смѣху, пиша свою автобіографію, говоря о своей эмигрантской тоскѣ, о тѣх кошмарах, которые он будто бы переживал в Парижѣ, а во время «первой русской революціи» и первой міровой войны «массу» всяческих душевных и умственных терзаній, и о том, как он «растерялся» и бѣжал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москвѣ, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актерским, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой вѣк чуть ни рыдал Горькій.

Я познакомился с Толстым как раз в тѣ годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революціи») так трагически декламировал Блок: «мы, дѣти страшных лѣт Россіи, забыть не можем ничего!» — в годы между этой первой революціей и первой міровой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журналѣ «Сѣверное Сіяніе», который затѣяла нѣкая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцію этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человѣк, церемонно представился мнѣ («граф Алексѣй Толстой») и предложил для напечатанія свою рукопись под заглавіем «Сорочьи сказ-

ки», ряд коротеньких и очень ловко сдѣланных «в русском стилѣ», бывшем тогда в модѣ, пустяков. Я, конечно, их принял, онѣ были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались всѣ писанія Толстого). Я с тѣх пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать всѣ прочія его писанія. Тут то мнѣ и открылось впервые, как разнообразны были онѣ, — как с самого начала своего писательства проявил он великое умѣніе поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тѣх или иных мѣняющихся вкусов и обстоятельств. Революціонных стихов его я никогда не читал, ничего не слыхал о них и от самаго Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом родѣ, в честь «первой революціи», да скоро бросил — то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причинѣ, что эта революція довольно скоро провалилась, хотя и успѣли русскіе мужички «богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских помѣстій. Что до «декадентской» его книжки, то я ее читал и, насколько помню, ничего декадентскаго в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже слѣдовал тому, чѣм тоже увлекались тогда; стилизаціей всего стариннаго и сказочнаго русскаго. За этой книжкой послѣдовали его разсказы из дворянскаго быта, тоже написанные во вкусѣ тѣх дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитыя (да и не нарочитыя) нелѣпости. Кажется, в тѣ годы написал он и нѣсколько комедій, приспособленных к провинціальным

вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, всегда приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман «Хожденія по мукам», начатый печатаньем в Парижѣ, в эмиграціи, в эмигрантском журналѣ, так основательно приспособил впослѣдствіи, то есть возвратясь в Россію, к большевицким требованіям, что всѣ «бѣлые» герои и героини романа вполнѣ разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми «красными». Извѣстно кромѣ того, что такое, например, его роман «Хлѣб», написанный для прославленія Сталина, затѣм фантастическая чепуха о каком-то матросѣ, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуну, затѣм пасквильная повѣсть о парижских «акулах капитализма» из русских эмигрантов, владѣльцев нефти, под заглавіем «Черное золото»... Что такое его «Сатирическія картины нравов капиталистической Америки», я не знаю. Никогда не бывши в Америкѣ, он, должно быть, освѣдомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горькій, Маяковскій... Горькій съѣздил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусіем назвал Нью Йорк «Городом Желтаго Дьявола», то есть золота, будто бы бывшаго всегда ненавистным ему, Горькому. Горькій дал такую картину этого будто бы «дьявольскаго города»;

«Это — город, это — Нью Іорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающій ожирѣніем. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и желѣза. Улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски

пищи, живые люди; вагоны городской желѣзной дороги — огромные черви; локомотивы — жирныя утки...»

Послѣ нашего знакомства в «Сѣверном Сіяніи» я не встрѣчался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревнѣ, а в Москвѣ и в Петербургѣ бывал мало и рѣдко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостиницѣ, гдѣ мы останавливались, вмѣстѣ с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее всѣ, а сам Толстой неизмѣнно так: «моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одѣта изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинціи: в цилиндрѣ и в огромной медвѣжьей шубѣ. Я встрѣтил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

— Очень рад возобновленію нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолѣпную шубу....

И он небрежно пробормотал в отвѣт;

— Да, наслѣдственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скораго нашего пріятельства; граф был человѣк ума насмѣшливаго, юмористическаго, надѣленный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вѣроятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тѣх, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому послѣ двух, трех слѣдующих встрѣч со

мной уже смѣялся, крякал над своей шубой, признавался мнѣ:

— Я эту наслѣдственность за грош купил по случаю, ея мѣх весь в гнусных лысинах от моли. А вѣдь какое барское впечатлѣніе производит на всѣх!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

— Никогда ничего путнаго не выйдет из вас в смыслѣ житейском, не умѣете вы себя подавать людям! Вот как, напримѣр, невыгодно одѣваетесь вы. Вы худы, хорошаго роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и слѣдовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талію, рубашки голландскаго полотна с этаким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом чернаго шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькія гаванскія сигаретки, а не пошлыя папиросы... Это мошенничество, по вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Вѣдь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — о д и н, видите ли, символист, другой — марксист, третій — футурист, четвертый — будто бы бывшій босяк... И всѣ наряжены: Маяковскій носит женскую желтую кофту, Андреев и Шаляпин — поддевки, русскія рубахи на выпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри... Всѣ мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульварѣ, в домѣ князя Щербатова, он в этой квартирѣ повѣсил нѣсколько

старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», а мнѣ опять со смѣхом: «Купил на толкучкѣ у Сухаревой башни!»

Так до самаго захвата большевиками власти в октябрѣ семнадцатаго года были мы с ним в мирных пріятельских отношеніях, но потом два раза поссорились. Жить стало уже очень трудно, начинался голод, питаться мало мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их — подлостью. И вот объявилась в каком то кабакѣ какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичныя дѣвки и жрут пирожки по сто цѣлковых штука, пьют какое-то мерзкое подобіе коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковскій, Брюсов и прочіе) читают им свои и чужія произведенія, выбирая наиболѣе похабныя, произнося всѣ заборныя слова полностью. Толстой осмѣлился предложить читать и мнѣ, я обидѣлся и мы поругались. А затѣм появилось в печати произведеніе Блока «Двѣнадцать». Блок, как стало извѣстно впослѣдствіи, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до «февральской революціи» так:

«Мятеж лиловых міров стихает. Скрипки, хвалившія призрак, обнаруживают свою истинную природу. И в разрѣженном воздухѣ горькій запах миндаля. В лиловом сумракѣ необъятнаго міра качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающем то, которое сквозило среди небесных роз...»

И еще так, столь же дьявольски поэтично:

«Едва моя невѣста стала моей женой, как лиловые міры первой революціи захватили нас

и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотѣвшій гибели, вовлекся в сѣрый пурпур серебряной Звѣзды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась желѣзная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетѣвшій шквал — цвѣта и запаха опредѣлить не могу».

Этот шквал и был февральской революціей и тут даже и для Блока всетаки опредѣлились вскорѣ цвѣт и запах новаго «шквала», хотя и раньше не требовалось для этого особо зоркаго зрѣнія и обонянія. Тут царскій період русской исторіи кончился (при доброй помощи солдат петербургскаго гарнизона, не желавших идти на фронт), власть перешла к Временному Правительству, всѣ царскіе министры были арестованы, посажены в Петропавловскую крѣпость, и Временное Правительство почему то пригласило Блока в «Чрезвычайную Комиссію» по разслѣдованію дѣятельности этих министров, и Блок, получая 600 рублей в мѣсяц жалованья, — сумму в то время еще значительную, — стал ѣздить на допросы, порой допрашивал и сам и непристойно издѣвался в своем дневникѣ, как это стало извѣстно впослѣдствіи, над тѣми, кого допрашивали. А затѣм произошла «Великая октябрьская революція», большевики посадили в ту же крѣпость уже министров Временнаго Правительства, двух из них (Шингарева и Кокошкина) даже убили, без всяких допросов, и Блок перешел к большевикам, стал личным секретарем Луначарскаго, послѣ чего написал брошюру «Интеллигенція и Революція», стал требовать: «Слушайте, слушайте, музыку революціи!» и сочинил «Двѣнадцать», написав в своем дневникѣ для потомства очень жалкую выдум-

ку: будто он сочинял «Двѣнадцать» как бы в трансѣ, «все время слыша какіе то шумы — шумы паденія стараго міра». Московскіе писатели устроили собраніе для чтенія и разбора «Двѣнадцати», пошел и я на это собраніе. Читал кто-то, не помню кто именно, сидѣвшій рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведенія, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сдѣлалась вполнѣ неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговѣйное молчаніе, потом послышались негромкія восклицанія; «Изумительно! Замѣчательно!» Я взял текст «Двѣнадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:

— Господа, вы знаете, что происходит в Россіи на позор всему человѣчеству вот уже цѣлый год. Имени нѣт тѣм безсмысленным звѣрствам, которыя творит русскій народ с начала февраля прошлаго года, с февральской революціи, которую все еще называют совершенно безстыдно «безкровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чем неповинных, достигло, вѣроятно, уже милліона, цѣлое море слез вдов и сирот заливает русскую землю. Убивают всѣ, кому не лѣнь; солдаты, все еще бѣгущіе с фронта ошалѣлой ордой, мужики в деревнях, рабочіе и всякіе прочіе революціонеры в городах. Солдаты, еще в прошлом году поднимавшіе на штыки офицеров, все еще продолжают убійства, бѣгут домой захватывать и дѣлить землю не только помѣщиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают все, что можно, убивают желѣзнодорожных служащих, начальников станцій, требуя от них поѣздов, локомотивов, которых у тѣх нѣт... Из нашей деревни пишут мнѣ, например, такое: мужики, разгромив-

ши одну помѣщичью усадьбу, ощипали, оборвали для потѣхи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. В апрѣлѣ прошлаго года я был в имѣніи моей двоюродной сестры в Орловской губерніи и там мужики, запаливши однажды утром сосѣднюю усадьбу, хотѣли меня, прибѣжавшаго на пожар, бросить в огонь, в горѣвшій вмѣстѣ с живой скотиной скотный двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывшій в толпѣ мужиков и баб возлѣ этого пожара, стал орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорѣла вся деревня, прилегавшая к усадьбѣ, и меня спасло только то, что я стал еще бѣшенѣй орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже насѣдавшая на меня, и я, собрав всѣ силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нея. А вот наднях прибѣжал из Симферополя всѣм вам извѣстный Н., — я назвал точно его фамилію, — и говорит, что в Симферополѣ рабочіе и дезертиры ходят буквально по колѣна в крови, живьем сожгли в паровозной топкѣ какого-то старенькаго отставного военнаго. Не странно ли вам, что в такіе дни Блок кричит на нас: «Слушайте, слушайте музыку революціи!» и сочиняет «Двѣнадцать», а в своей брошюрѣ «Интеллигенція и революція» увѣряет нас, что русскій народ был совершенно прав, когда в прошлом октябрѣ стрѣлял по соборам в Кремлѣ, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толстопузый поп цѣлыя столѣтія водкой торговал, икая!» Что до «Двѣнадцати», то это произ-

веденіе и впрямь изумительно, но только в том смыслѣ до чего оно дурно во всѣх отношеніях. Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нѣт ни одного словечка в простотѣ, все сверх всякой мѣры красиво, краснорѣчиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опошлить. Но вот послѣ великаго множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому непонятных, литературно выдуманных символических, мистических стихов, он написал наконец нѣчто уже слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый, плоскій трюк: он берет зимній вечер в Петербургѣ, теперь особенно страшном, гдѣ люди гибнут от холода, от голода, гдѣ нельзя выйти даже днем на улицу из боязни быть ограбленным и раздѣтым до гола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, буйной солдатней, но вѣдь в концѣ концов всѣ ея дѣянія святы разгульным разрушеніем прежней Россіи и что впереди нея идет Сам Христос, что это Его апостолы:

Товарищ, винтовку держи не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь,
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Почему Святая Русь оказалась у Блока только избяной да еще и толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, всѣ свои революціонные планы и надежды поставившіе не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетаріата, на кабацкую голь, на босяков, на всѣх тѣх, кого Ленин плѣ-

нил полным разрѣшеніем «грабить награбленное». И вот Блок пошло издѣвается над этой избяной Русью, над Учредительным Собраніем, которое они обѣщали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржуем», над обывателем, над священником:

От зданія к зданію
На канатѣ — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранію!»
А вон и долгополый —
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?
Вон барыня в каракулѣ —
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

«Двѣнадцать» есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И все это прежде всего чертовски скучно безконечной болтливостью и однообразіем все одного и того же разнообразія, надоѣдает несмѣтными ай, ай, эх, эх, ах, ах, ой, ой, тратата, трахтахтах... Блок задумал воспроизвести народный язык, народныя чувства, но вышло нѣчто совершенно лубочное, неумѣлое, сверх всякой мѣры вульгарное;

Буржуй на перекресткѣ
В воротник упрятал нос...
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,
И старый мір, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост...
Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!
Тратата!
А Ванька с Катькой в кабакѣ,
У ей керенки есть в чулкѣ!
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою попробуй поцѣлуй!
Катька с Ванькой занята —
Чѣм, чѣм занята?
Снѣг крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Електрическій фонарик
На оглобельках...
Ах, ах, пади!

Это ли не народный язык! «*Електрическій*»! Попробуйте ка произнести! И совершенно смѣхотворная нѣжность к оглоблям, — «оглобельки», — очевидно, тоже народная. А дальше нѣчто еще болѣе народное;

Ах, ты Катя, моя Катя,
Толстоморденькая!
Гетры сѣрые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнькерем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла?

Исторія с этой Катькой кончается убійством ея и истерическим раскаяніем убійцы, какого-то Петрухи, товарища какого-то Андрюхи:

Опять навстрѣчу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...
Стой, стой! Андрюха, помогай,
Петруха, сзаду забѣгай!
Трахтахтахтах!

Что, Катька, рада? — Ни гугу!
Лежи ты, падаль, на снѣгу!
Эх, эх,
Позабавиться не грѣх!
Ты лети, буржуй, воробышком,
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку!
И опять идут двѣнадцать,
За плечами ружьеца,
Лишь у бѣднаго убійцы
Не видать совсѣм лица!

Бѣдный убійца, один из двѣнадцати Христовых апостолов, которые идут совершенно неизвѣстно куда и зачѣм, и из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, уже ревет, рыдает, раскаивается, — вѣдь уж так всегда полагается, давно извѣстно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться:

Ох, товарищи родные,
Эту дѣвку я любил,
Ночки черныя, хмельныя
С этой дѣвкой проводил!

«Ты лети, буржуй, воробышком», — опять буржуй и уж совсѣм ни к селу, ни к городу, буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, — а дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черныя, хмельныя — от этого то заборнаго, то сусальнаго русскаго стиля с несмѣтными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:

Изъ-за удали бѣдовой
В огневых ея очах,
Изъ-за родинки пунцовой
Возлѣ праваго плеча,
Загубил я, безтолковый,
Загубил я сгоряча...
Ах!

В этой архи-русской трагедіи не совсѣм ладно одно: сочетаніе толстой морды Катьки с «бѣдовой удалью ея огневых очей». По моему, очень мало идут огневыя очи к толстой мордѣ. Не совсѣм к стати и «пунцовая родинка», — вѣдь не такой уж изысканный цѣнитель женских прелестей был Петруха!

А «под занавѣс» Блок дурачит публику уж совсѣм галиматьей, сказал я в заключеніе. Увлекшись Катькой, Блок совсѣм забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что исторія с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержаніем «Двѣнадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пес — опять пес! — и патологическое кощунство: какой то сладкій Іисусик, пляшущій (с кровавым флагом, а вмѣстѣ с тѣм в бѣлом вѣнчикѣ из роз) впереди этих скотов, грабителей и убійц:

Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
Нѣжной поступью надвьюжной,
Снѣжной розсыпью жемчужной,
В бѣлом вѣнчикѣ из роз —
Впереди — Исус Христос!

Как ни вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, котораго Мефистофель привел в «Кухню Вѣдьм»:

Кого тут вѣдьма за нос водит?
Как будто хором чушь городит
Сто сорок тысяч дураков!

Вот тогда и закатил мнѣ скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким пѣтухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мнѣ моей рѣчи о Блокѣ, что он, Толстой, — большевик до глубины души, а я ретроград, контр-революціонер и т. д.

Довольно странно было и другое знаменитое произведеніе Блока о русском народѣ под заглавіем «Скифы», написанное («созданное», как неизмѣнно выражаются его поклонники) тотчас послѣ «Двѣнадцати». Сколько было противных любовных воплей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографическаго «узорнаго плата до бровей»! Но вот наконец весь русскій народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азіатом «с раскосыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам, Блок говорит от имени Россіи не менѣе заносчиво, чѣм говорил от ея имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги») и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европѣ, но и Америкѣ, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера:

Милльоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами!
Да, скифы — мы! Да, азіаты — мы

С раскосыми и жадными очами!
Вы сотни лѣт глядѣли на Восток,
Копя и плавя наши перла,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мірѣ есть любовь,
Которая и жжет и губит!
Мы любим плоть — и вкус ея, и цвѣт,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нѣжных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых...

В этих комических угрозах, в этой литературщинѣ, которой я привожу лишь часть, есть кое что совсѣм непонятное, что значит, напримѣр, «копя и плавя наши перла»? Все остальное что ни слово, то золото: тьмы азіатов, раскосыя и жадныя очи, вкус и смертный запах плоти, тяжелыя, нѣжныя лапы, хрустящіе людскіе скелеты и даже ломаемые конскіе крестцы, хотя ломать их за игривость коней есть дѣло не только злое и глупое, но и совершенно невозможное физически, так что уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» — грубая поддѣлка под Пушкина («Клеветникам Россіи»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это вѣдь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря: нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замѣчательнѣе, так это то, что как раз во время «соз-

данія» «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за все существованіе Россіи, развалилась вся русская армія, защищавшая ее от нѣмцев, и поистинѣ «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, — «Попробуйте сразиться с нами!» — удирали с фронта во всѣ лопатки, а всего через мѣсяц послѣ того был подписан большевиками в Брест Литовскѣ знаменитый «похабный мир»...

Мы с женой в концѣ мая того года уѣхали из Москвы в Одессу довольно законно: за год до февральской революціи я оказал большую услугу нѣкоему приват доценту Фриче, литератору, читавшему гдѣ-то лекціи, ярому соціал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольныя революціонныя брошюрки, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кѣм-то вродѣ министра иностранных дѣл, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станціи Орша, за которой находились области оккупированныя) и он, растерявшись, не только поспѣшил дать этот пропуск, но предложил доѣхать до Орши в каком-то санитарном поѣздѣ, шедшем зачѣм то туда. Так мы и уѣхали из Москвы, — навсегда, как оказалось, — и какое это было всетаки ужасное путешествіе! Поѣзд шел с вооруженной охраной, — на случай нападенія на него послѣдних удиравших с фронта «скифов» — по ночам проходил в темнотѣ и весь затѣмненный станціи, и что только было на вокзалах этих станцій, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и пѣснями, то есть «музыкой революціи»!

В тот год власть большевиков простиралась еще на небольшую часть Россіи, все остальное было или свободно или занято нѣмцами, австрійцами, и с их согласія и при их поддержкѣ управлялось самостоятельно. В тот год уже шло великое бѣгство из Великороссіи людей всѣх чинов и званій, всякаго пола и возраста — всякій, кто мог, бѣжал в еще свободную и неголодающую Россію. И вот оказался через нѣкоторое время и Толстой в числѣ бѣжавших. В августѣ пріѣхала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандіевская, с двумя дѣтьми, потом появился и он сам. Тут он встрѣтился со мной как ни в чем ни бывало и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще не знал в нем:

— Вы не повѣрите, — кричал он, — до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засѣвших в Кремлѣ, вы, надѣюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собраніи по поводу идіотских «Двѣнадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно рѣшил удрать и при том как можно удобнѣе и выгоднѣе. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москвѣ. Как ни оскотинѣл русскій народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дорогѣ сюда, на остановках в разных городах и в поѣздах, такія рѣчи хороших, бородатых мужиков насчет не только всѣх этих Свердловых и Троцких, но и самаго Ленина, что меня мороз по кожѣ драл! Погоди, погоди, говорят, доберемся и до них! И доберутся! Бог свидѣтель, я бы сапоги теперь цѣловал у всякого царя! У меня самаго рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мнѣ, — вот

как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помѣщичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!

Осень, а затѣм зиму, очень тревожную, со смѣной властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессѣ всетаки болѣе или менѣе сносно, кое что продавали разным то и дѣло возникавшим по югу Россіи книгоиздательствам, — Толстой кромѣ того получал неплохое жалованье в одном игорном клубѣ, будучи там старшиной, — но в началѣ апрѣля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бѣгство французскія и греческія воинскія части, присланныя защищать ее, и Толстые тоже стремительно бѣжали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успѣли бѣжать вмѣстѣ с ними: бѣжали в Турцію, потом в Болгарію, в Сербію и наконец во Францію чуть ни через год послѣ того, прожив почти пять несказанно мучительных мѣсяцев под большевиками, освобождены были Добровольцами Деникина, — его главная армія чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, — но в концѣ января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навѣки простились с Россіей.

Почему мы не погибли в Черном морѣ на пути в Константинополь, одному Богу вѣдомо. Мы ушли из города в порт пѣшком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несмѣтную толпу прочих бѣженцев, набившихся в маленькій, ветхій греческій пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русскій ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лѣт 75, и молодая женщина, бывшая секре-

тарем его и почти нянькой. Шли мы затѣм до Константинополя двое суток в снѣжную бурю, капитан «Патраса» был пьяница албанец, не знавшій Чернаго моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасѣ» русскій моряк, замѣнившій его, потонул бы «Патрас» со всѣми своими несчастными пассажирами непремѣнно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным вѣтром и снѣгом, пристали под Стамбулом, и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дизенфекціи». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французскаго доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Безсмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Россійской Императорской Академіи), что доктор, вмѣсто того, чтобы сказать нам: «Но тѣм лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», сдался и освободил нас от него. Зато нас вмѣстѣ с нашим жалким бѣженским имуществом покидали по чьему то приказанію на громадный, грохочущій каміон и помчали за Стамбул, туда, гдѣ начинаются так называемыя Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руинѣ тоже огромнаго турецкаго дома, и мы спали там на полу в полной тьмѣ, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убѣжищем прокаженных, охраняемая теперь великаном негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помѣщеніе уже упраздненнаго русскаго консульства, гдѣ до отъѣзда в Софію спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессѣ

была власть Деникина, послал мнѣ изъ Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мнѣ было очень тяжело тогда (в апрѣлѣ) разставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно вѣтер подхватил нас и опомнились мы не скоро, уже на пароходѣ. Что было перетерплено — не разсказать. Спали мы с дѣтьми в сыром трюмѣ рядом с тифозными и по нас ползали вши. Два мѣсяца сидѣли на собачьем острову в Мраморном морѣ. Мѣсто было красивое, но денег не было. Три недѣли ѣхали мы (потом) в каютѣ, которая каждый день затоплялась водой изъ солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребываніем здѣсь (во Франціи). Здѣсь так хорошо, что было бы совсѣм хорошо, если бы не сознаніе, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письмѣ он сообщал:

«Милый Иван Алексѣевич, князь Георгій Евгеньевич Львов (бывшій глава Временнаго Правительства, он сейчас в Парижѣ) говорил со мной о Вас, спрашивал, гдѣ Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы по всей вѣроятности согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексѣевич, что Вам было бы сейчас благоразумно рѣшиться на эту эвакуацію. Минимум Вам будет гарантирован, кромѣ того к Вашим услугам журнал «Грядущая Россія» (начавшій выходить в Парижѣ), затѣм одно огромное изданіе, куда я приглашен редактором, кромѣ того изданія Ваших книг по русски, нѣмецки и англійски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной странѣ, гдѣ чудесное красное вино и все, все в изобиліи. Если вы

пріѣдете или извѣстите заранѣе о Вашем пріѣздѣ, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севрѣ с тѣм разсчетом, чтобы Вы с Вѣрой Николаевной поселились у нас. Будет очень очень хорошо...»

В первом письмѣ были еще такія строки:

«Пришлите, Иван Алексѣевич, мнѣ Ваши книги и разрѣшеніе для перевода разсказов на французскій язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, т. е. не зажиливать. В Парижѣ Вас очень хотят переводить, а книг нѣт... Все это время работаю над романом, листов в 18—20. Написано — одна треть. Кромѣ того подрабатываю на сторонѣ и честно и похабно, — сценарій... Франція — удивительная, пракрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом... Большевиков здѣсь быть не может, что бы ни говорили... Крѣпко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексѣевич...»

Константинополь, Болгарія, Сербія, Чехія — всюду в ту пору было полно русскими бѣженцами. То же было и в Парижѣ, Париж, куда мы пріѣхали в самом концѣ марта, встрѣтил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многія имена которых были извѣстны не только всей Россіи, но и Европѣ, — тут были нѣкоторые уцѣлѣвшіе великіе князья, милліонеры из дѣльцов, знаменитые политическіе и общественные дѣятели, депутаты Государственной Думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и всѣ были, не взирая ни на что, преисполнены надежд на возрожденіе Россіи и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной дѣятельностью, которая развивалась все болѣе и

болѣе на всѣх поприщах. И с кѣм только не встрѣчались мы чуть ни каждый день в первые годы эмиграціи на всяких засѣданіях, собраніях и в частных домах! Деникин, Керенскій, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников — Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей — Мережковскіе, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мнѣ в Одессу — в бездѣйствіи и в нуждѣ тут нельзя было тогда погибнуть. Вскорѣ и мы не плохо устроились матеріально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мнѣ утром и сказал: «Ѣдем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затѣять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Парижѣ достаточно, печататься нам есть гдѣ, но этот мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навѣстили нѣскольких «буржуев», каждому из них излагая цѣль нашего визита в нѣскольких словах, каждым были приняты с отмѣнным радушіем, и в три-четыре часа собрали 160 тысяч франков, а что это было тридцать лѣт тому назад! И книгоиздательство мы вскорѣ основали, и оно было тоже немалым матеріальным подспорьем не только нам с Толстыми. Но у Толстых была постоянная бѣда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мнѣ в Парижѣ:

— Господи, до чего хорошо живем мы во всѣх отношеніях, за весь свой вѣк не жил я так, только вот деньги чорт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохѣ...

— В какой суматохѣ?

— Ну я уж не знаю, в какой; главное то,

что пустые карманы я совершенно ненавижу, поѣхать куда-нибудь в город, смотрѣть на витрины без возможности купить что-нибудь — истинное мученіе для меня; покупать я люблю даже всякую совсѣм ненужную ерунду до страсти! Кромѣ того, вѣдь нас пять человѣк, считая эту эстонку при дѣтях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсѣм другое: «А будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: пріѣхав в Париж, встрѣтил там стараго московскаго друга Крандіевских, состоятельнаго человѣка, и при его помощи не только жил первое время, но даже и одѣлся и обулся с порядочным запасом:

— Я не дурак, говорил он мнѣ, смѣясь, — тотчас накупил себѣ бѣлья, ботинок, у меня их цѣлых шесть пар и всѣ лучшей марки и на великолѣпных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходныя, на всѣ сезоны...

В надеждѣ на паденіе большевиков нѣкоторые парижскіе русскіе богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграціи разные имущества эмигрантов, оставшіяся в Россіи, и Толстой продал за 18 тысяч франков свое несуществующее в Россіи имѣніе и, выпучивал глаза, разсказывая мнѣ об этом:

— Понимаете, какая дурацкая исторія вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодій, как вдруг спрашивают: а гдѣ же находится это имѣніе? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да к счастью вспомнил комедію «Каширская старина» и быстро говорю:

в каширском уѣздѣ, при деревнѣ Порточки... И, слава Богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Парижѣ особенно дружно, встрѣчались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, родѣ:

«У нас нынче буйабез от Прьюнье и такое Пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком — выпить стакан добраго вина и полюбоваться огнями этого чуднаго города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:

— Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всѣх, с кого было можно, уже 37 тысяч франков, — в долг, разумѣется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь блѣднѣют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обѣд или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мнѣ пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал еще в декабрѣ 1903 года в Москвѣ. Она пришла ко мнѣ однажды в морозные сумерки, вся в инеѣ,— иней опушил всю ея бѣличью шапочку, бѣличій воротник шубки, рѣсницы, уголки губ, — и я просто поражен был ея юной прелестью, ея дѣвичьей красотой и восхищен талантливостью ея стихов,

которые она принесла мнѣ на просмотр, которые она продолжала писать и впослѣдствіи, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но всетаки почему то совсѣм бросила еще в Парижѣ. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

— Чтож, в эмиграціи, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном рѣшенія возвратиться в Россію.

Как бы то ни было, лѣтом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о Россіи, но и о Берлинѣ. То лѣто Толстые проводили под Бордо, в небольшом имѣніи, купленном «Земгором» из остаток его общественных средств, и Толстой писал мнѣ оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вѣра Николаевна, было бы напрасно при Вашей недовѣрчивости увѣрять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причинѣ того, что напишу завтра... Как вы живете? Живем мы в этой дырѣ неплохо, питаемся лучше, чѣм в Парижѣ и дешевле больше чѣм вдвое. Если бы были хоть «тительные» денежки — рай, хотя скучно. Но денег нѣт совсѣм и, если ничего не случится хорошаго осенью, то и с нами ничего хорошаго не случится. Напиши мнѣ, Иван милый, как наши общія дѣла? Бог смерти не дает — надо кряхтѣть! Пишу довольно много. Окончил роман и передѣлываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба пріѣхали сюда зимовать, мы бы перезимовали вмѣстѣ. Дом комфортабельный и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наѣзжать. Подумай, напиши...»

Но к осени ничего хорошаго не случилось, не случилось ничего хорошаго и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в нѣкотором родѣ роковыя слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Слѣдующія письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, пріѣхали мы в Берлин, — Боже, здѣсь все иное. Очень похоже на Россію, во всяком случаѣ очень близко от Россіи. Жизнь здѣсь приблизительно как в Харьковѣ при Гетманѣ; марка падает, цѣны растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличіе: там вся жизнь построена была на пескѣ, на политикѣ, на авантюрѣ,— революція была только заказана сверху. Здѣсь чувствуется покой в массѣ народа, воля к работѣ, нѣмцы работают как никто. Большевизма здѣсь не будет, это уже ясно. На улицѣ снѣг, совсѣм как в Москвѣ в концѣ ноября, — все черное. Живем мы в пансіонѣ, недурно, но тебѣ бы не понравилось. Вина здѣсь совсѣм нѣт, это очень большое лишеніе, а от здѣшняго пива гонит в сон и в мочу... Здѣсь мы пробудем недолго и затѣм ѣдем — Наташа с дѣтьми в Фрейбург, я — в Мюнхен... Здѣсь во всю идет издательская дѣятельность. На марки все это грош, но, живя в Германіи, зарабатывать можно не плохо. По всему видно, что у здѣшних издателей опредѣленые планы торговать книгами с Россіей. Вопрос со старым правописаніем очевидно будет рѣшен в положительном смыслѣ. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвѣчал тебѣ, недавно вер-

нулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихрѣ великосвѣтской жизни, откладывал отвѣты на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ѣхать в Германію, на тѣ, например, деньги, которыя ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлинѣ вдвоем в лучшем пансіонѣ, в лучшей части города 9 мѣсяцев: жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем 13-14 тысяч марок в мѣсяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обезпечен на лѣто, т. е. на самое тяжелое время. В Парижѣ мы бы умерли с голоду. Заработки здѣсь таковы, что, разумѣется, работой в журналах мнѣ с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбѣдно... Книжный рынок здѣсь очень велик и развивается с каждым мѣсяцем, покупается все, даже такія книги, которыя в довоенное время в Россіи сѣли бы. И есть у всѣх надежда, что рынок увеличится продвиженіем книг в Россію: часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттѣнком, проникает обычная литература... Словом, в Берлинѣ сейчас уже около 30 издательств, и всѣ онѣ, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Очень значительна в этом письмѣ строка: «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обезпечен на лѣто...» Значит, он тогда еще и не думал о возвращеніи в Россію. Однако, это письмо было уже послѣдним его письмом ко мнѣ.

В послѣдній раз я случайно встрѣтился с ним в ноябрѣ 1936 г., в Парижѣ. Я сидѣл однажды вечером в большом людном кофэ, он тоже оказался в нем, — зачѣм-то пріѣхал в Париж, гдѣ не был со времени отъѣзда своего сперва в Берлин, потом в Москву, — издалека увидал меня и прислал мнѣ с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здѣсь, хочешь видѣть меня? А. Толстой». Я встал и пошел в ту сторону, которую указал мнѣ гарсон. Он тоже уже шел навстрѣчу мнѣ и, как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мнѣ смѣшком и забормотал: «Можно тебя поцѣловать? Не боишься большевика?» — спросил он, вполнѣ откровенно насмѣхаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

— Страшно рад видѣть тебя и спѣшу тебѣ сказать, до каких же пор ты будешь тут сидѣть, дожидаясь нищей старости? В Москвѣ тебя с колоколами бы встрѣтили, ты представить себѣ не можешь, как тебя любят, как тебя читают в Россіи...

Я перебил, шутя:

— Как же это с колоколами, вѣдь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себѣ не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, напримѣр, живу? У меня цѣлое помѣстье в Царском Селѣ, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоцѣнных англійских трубок, каких у самого англійскаго короля нѣту... Ты что ж, воображаешь, что тебѣ на сто лѣт хватит твоей нобелевской преміи?

Я поспѣшил перемѣнить разговор, посидѣл с ним недолго, — меня ждали тѣ, с кѣм я пришел в кафэ, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мнѣ утром, чтобы условиться о новой встрѣчѣ, и не позвонил, — «в суматохѣ!» — и вышла эта встрѣча нашей послѣдней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудѣла, волосы порредѣли, большія роговыя очки замѣнили пенснэ, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского...

1949 г.

МАЯКОВСКІЙ

Кончая свои писательскія воспоминанія, думаю, что Маяковскій останется в исторіи литературы большевицких лѣт как самый низкій, самый циничный и вредный слуга совѣтскаго людоѣдства по части литературнаго восхваленія его и тѣм самым воздѣйствія на совѣтскую чернь, — тут не в счет, конечно, только один Горькій, пропаганда котораго с его міровой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностям, как нельзя болѣе подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и безпримѣрной неутомимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистинѣ «в планетарном масштабѣ». И совѣтская Москва не только с великой щедростью, но даже с идіотской чрезмѣрностью отплатила Маяковскому за всѣ его восхваленія ея, за всяческую помощь ей в дѣлѣ развращенія совѣтских людей, в сниженіи их нравов и вкусов. Маяковскій превознесен в Москвѣ не только как великій поэт. В связи с недавней двадцатилѣтней годовщиной его самоубійства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковскаго *воплотилось* в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другія *долгія* дѣла. Десять пароходов «Владимір Маяковскій»

плавают по морям и рѣкам. «Владимір Маяковскій» было начерчено на бронѣ трех танков. Один из них дошел до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик «Владимір Маяковскій» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимір Маяковскій» топила корабли в Балтикѣ. Имя поэта носят: площадь в центрѣ Москвы, станція метро, переулок, библіотека, музей, район в Грузіи, село в Арменіи, поселок в Калужской области, горный пик на Памирѣ, клуб литераторов в Ленинградѣ, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три городских парка, школы, колхозы...» (А вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей совѣтской Россіи есть всего на всего единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта»). Маяковскому пошло на пользу даже его самоубійство: оно дало повод другому совѣтскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тѣни с намеком на что-то даже очень возвышенное:

Твой выстрѣл был подобен Этнѣ
в предгорье трусов и трусих!

Казалось бы, выстрѣл можно уподоблять не горѣ, а какому-нибудь ея дѣйствію, — обвалу, изверженію... Но поелику Пастернак считается в совѣтской Россіи да многими и в эмиграціи тоже геніальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним геніальным поэтам, и вот еще один примѣр тому из его стихов:

Поэзія, я буду клясться
тобой и кончу, прохрипѣв:
ты не осанка сладкогласца,

ты лѣто с мѣстом в третьем классѣ,
ты пригород, а не припѣв.

Маяковскій прославился в нѣкоторой степени еще до Ленина, выдѣлился среди всѣх тѣх мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Всѣ его скандальныя выходки в ту пору были очень плоски, очень дешевы, всѣ подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всѣх превосходил силой грубости и дерзости. Вот его знаменитая желтая кофта и дикарски раскрашенная морда, но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаніям одного из его тогдашних пріятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публикѣ, собравшейся потѣшаться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленнаго рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица рѣзки и крупны, он читает, то усиливая голос до рева, то лѣниво бормоча себѣ под нос; кончив читать, обращается к публикѣ уже с прозаической рѣчью:

— Желающіе получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставкѣ, — он вѣдь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотнѣ, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушел в баню»...

Если бы подобная картина была вывѣшена гдѣ-нибудь на базарѣ в каком-нибудь самом захолустном русском городишкѣ, любой прохожій мѣщанин, взглянув на нее, только пока-

чал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помѣшанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь ярмаркѣ балаганный шут крикнул толпѣ становиться в очередь, чтобы получать по мордѣ, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до безчувствія. Ну, а русская столичная интеллигенція всетаки забавлялась Маяковскими и вполнѣ соглашалась с тѣм, что их выходки называются футуризмом.

В день объявленія первой русской войны с нѣмцами Маяковскій влѣзает на пьедестал памятника Скобелеву в Москвѣ и ревет над толпой патріотическими виршами. Затѣм, через нѣкоторое время, на нем цилиндр, черное пальто, черныя перчатки, в руках трость чернаго дерева, и он в этом нарядѣ как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горькій незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в странѣ, освѣщенной геніем Владиміра Ильича Ленина, в странѣ, гдѣ неутомимо и чудодѣйственно работает желѣзная воля Іосифа Сталина!» Воцарившись, Ленин, «величайшій геній всѣх времен и народов,» как неизмѣнно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежнаго мѣшка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографіи в рамках и картинках, проституціи в видѣ «дополненія» к «святому искусству» вашему?»

«Денежный мѣшок, порнографія в рамках и картинках, проституція в видѣ дополненія...» Какой словесный дар, какой убійственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим художником слова». Но всего замѣчательнѣй то, что он сказал вскорѣ послѣ этого:

«Так называемая «свобода творчества» есть барскій анахронизм. Писатели должны непремѣнно войти в партійныя организаціи».

И вот Маяковскій становится уже неизмѣнным слугою РКП (Россійской Коммунистической Партіи), начинает буянить в том же родѣ, как буянил, будучи футуристом: орать, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затѣм — меня: твердо сказал на каком-то публичном собраніи (по свидѣтельству Е. Д. Кусковой в ея статьях «До и послѣ», напечатанных в прошлом году в «Новом Русском Словѣ» по поводу моих «Автобіографических замѣток»):

«Искусство для пролетаріата не игрушка, а оружіе. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочіе круги!»

Что именно требовалось, как «оружіе», этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партіей, которой он замѣнил всѣ прочія «партійныя организаціи»? Требовалась «фабрикація людей с матеріалистическим мышленіем, с матеріалистическими чувствами», а для этой фабрикаціи требовалось все наиболѣе завѣтное ему, Ленину, и всѣм его соратникам и наслѣдникам: стереть с лица земли и оплевать все прошлое, все, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, — ненависть к ре-

лигіи была у Ленина совершенно паталогическая, — и самую звѣрскую классовую ненависть, перешагнуть всѣ предѣлы в безпримѣрно похабном самохвальствѣ и прославленіи РКП, неустанно воспѣвать «вождей», их палачей, их опричников, — словом как раз все то, для чего трудно было найти болѣе подходящаго пѣвца, «поэта», чѣм Маяковскій с его злобной, безстыдной, каторжно-безсердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тѣх дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и всѣ свои лживые восторги перед РКП и ея главарями, свою преданность им и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени все то, чѣм добывал себѣ славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастіем ко всякой мерзости. Он называл звѣзды «плевочками», он, разсказывая в своих ухабистых виршах о своем путешествіи по Кавказу, сообщил, что сперва *поплевал* в Терек, потом *поплевал* в Арагву; он любил слова еще болѣе гадкія, чѣм плевочки, — писал, напримѣр, Есенину, что его, Есенина, имя «публикой *осоплено*», над Америкой, в которой он побывал впослѣдствіи, издѣвался в том же родѣ:

Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с каплями на носу,
сосет

как будто
не грудь, а доллар —
занят серьезным бизнесом.

Он любил слово «блевотина», — писал (похоже, что о самом себѣ):

Бумаги
гладь
облевывает
пером,
концом губы поэт,
как блядь рублевая.

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидѣвшему золото, — Горькій уже много лѣт тому назад свирѣпо назвал Нью-Йорк «Городом Желтаго Дьявола», то есть золота, — он, Маяковскій, золото тоже должен был ненавидѣть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

Пока
доллар
всѣх поэм родовѣй,
лапя,
хапая,
выступает,
порфиру надѣв, Бродвей:
капитал —
его препохабіе!

Горькій посѣтил Америку в 1906 году, Маяковскій через двадцать лѣт послѣ него — и это было просто ужасно для американцев: я недавно прочел об этом в московской «Литера-

турной газетѣ», в почтенном органѣ Союза совѣтских писателей, там в статьѣ какого-то Атарова сказано, что на его столѣ лежит «удивительная, подлинно великая книга» прозы и стихов Маяковскаго об Америкѣ, что книга эта «плод пребыванія Маяковскаго в Нью Йоркѣ» и что послѣ пріѣзда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезныя причины тревожиться: в их страну пріѣхал великій поэт революціи!»

С такой же силой, с какой он устрашил и разоблачил Америку, он воспѣвал РКП:

Мы
не с мордой, опущенной вниз,
мы — в новом, грядущем быту,
помноженном на электричество
и коммунизм...

Поэтом не быть мнѣ бы,
если б
не это пѣл:
в звѣздах пятиконечных небо
безмѣрнаго свода РКП.

Что совершалось под этим небом в пору писаній этих виршей? Об этом можно было прочесть даже и в совѣтских газетах:

«3-го іюня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5-го іюня — 187. Граждане! Записывайтесь в трудовыя артели по уборкѣ трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоѣдства бывшій член Государственной Думы Крылов, врач по профессіи: он был вызван в деревню к больному, но по дорогѣ убит и съѣден».

В ту же пору так называемый «Всероссійскій Староста» Калинин посѣтил юг Россіи и тоже вполнѣ откровенно засвидѣтельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другіе хоронят, стремясь использовать в пищу мягкія части умерших».

Но что до того было Маяковским, Демьянам и многим, многим прочим из их числа, жравшим «на полный рот», носившим шелковое бѣлье, жившим в самых знаменитых «Подмосковных», в московских особняках прежних московских милліонеров! Какое дѣло было Владиміру Маяковскому до всего того, что вообще совершалось под небом РКП? Какое небо, кромѣ этого неба, мог он видѣть? Развѣ не сказано, что «свиньѣ неба во вѣки не видать»? Под небом РКП при началѣ воцаренія Ленина ходил по колѣно в крови «революціонный народ», затѣм кровопролитіем занялся Феликс Эдмундович Дзержинскій и его сподвижники. И вот Владимір Маяковскій превзошел в тѣ годы даже самых отъявленных совѣтских злодѣев и мерзавцев. Он писал:

Юношѣ, обдумывающему житье,
рѣшающему —
сдѣлать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь:
дѣлай ее
с товарища Дзержинскаго!

Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинскаго о самом себѣ, совершенно бредовыя в устах изверга, истребившаго тысячи и тысячи жизней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает свою жизнь за других».

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковскій славословить и самих творцов РКП, — лично их:

Партія и Ленин
кто болѣе
матери исторіи цѣнен?
Я хочу,
что б к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выдѣлкой стали
о работѣ стихов
от Политбюро
чтобы дѣлал доклады Сталин.

И вот слава его, как великаго поэта, все растет и растет, поэтическія творенія его издаются «громадными тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строку даже в одно слово гонорары самые что ни на есть высокіе, он то и дѣло вояжирует в «гнусныя» капиталистическія страны, побывал в Америкѣ, нѣсколько раз пріѣзжал в Париж и каждый раз имѣл в нем довольно долгое пребываніе, заказывал бѣлье и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболѣе капиталистическіе, но «поплевал» и в Парижѣ, — заявил с томной брезгливостью пресыщеннаго пшюта:

Я не люблю
парижскую любовь —
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,

сказав «тубо»
собакам озвѣрѣвшей страсти.

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всѣх Горькій: пригласил его к себѣ на дачу в Мустамяки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществѣ свою поэму «Флейта-Позвоночник», и когда Маяковскій кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

— Здорово, сильно... Большой поэт!

А всего нѣсколько лѣт тому назад прочитал я в журналѣ «Новоселье», издававшемся тогда еще в Нью-Йоркѣ, нѣчто уже совершенно замѣчательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковскаго из русской и всемірной литературы отброшены послѣдними годами в далекое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новосельи» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма извѣстным своими работами по изученію «Слова о Полку Игоревѣ», — он, русскій по происхожденію, когда-то учившійся в одной гимназіи с Маяковским в Москвѣ, был сперва профессором в Прагѣ, затѣм в Нью-Йоркѣ и наконец получил кафедру в Харвардском университетѣ, лучшем в Америкѣ.

Не знаю, кто «тужился» развѣнчать Маяковскаго, — кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно безпокоится: относительно всемірной литературы он, конечно, слегка зарапортовался, рядом со «Словом о Полку Игоревѣ» творенія Маяковскаго навряд будут в ней, но в будущей, свободной исторіи русской литературы Маяковскій будет, без сомнѣнія, помянут достойно.

ГЕГЕЛЬ, ФРАК, МЕТЕЛЬ

Революціонныя времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят, — плачущій считается преступником, «врагом народа», в лучшем случаѣ — пошлым мѣщанином, обывателем. В Одессѣ, до второго захвата ея большевиками, я однажды разсказывал публично о том, что творил русскій «революціонный народ» уже весною 1917 года и особенно в уѣздных городах и в деревнях, — я в ту пору пріѣхал в имѣніе моей двоюродной сестры в Орловской губерніи, — разсказал, между прочим, что в одном господском имѣньи под Ельцом мужики, грабившіе это имѣніе, ощипали до гола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда попало с отчаянными воплями, и получил за этот разсказ жестокій нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее Слово», Павла Юшкевича, напечатавшаго в ней в назиданіе мнѣ такія строки:

«К революціи, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мѣрилом и пониманіем уголовнаго хроникера, оплакивать ваших павлинов — мѣщанство, обывательщина, Гегель не даром учил о разумности всего дѣйствительнаго!»

Я отвѣтил ему в одесской добровольческой газетѣ, которую редактировал тогда, что вѣдь и чума, и холера, и еврейскіе погромы могут быть

оправданы, если уж так свято вѣрить Гегелю, и что мнѣ всетаки жаль елецких павлинов: вѣдь они и не подозрѣвали, что на свѣтѣ существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утѣшиться...

Все это я не раз вспоминал в Константинополѣ, когда, бѣжав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладѣвших ею, мы стали наконец (в началѣ февраля 1920 года) эмигрантами и чувствовали себя в нѣкотором родѣ тоже весьма ощипанными павлинами. Я часто бывал в Константинополѣ в прежніе, мирные годы. Теперь, словно нарочно, попал в него в тринадцатый раз, и это роковое число вполнѣ оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, все было крайне горестно теперь в Константинополѣ. Прежде я всегда видѣл его во всей красотѣ его весенних дней, веселым, шумным, привѣтливым; теперь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшаго снѣга, мокрый, рѣзкій вѣтер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупаціей союзников, их презрительной властью над ними, грустны и ласковы только с нами, русскими бѣженцами, еще болѣе безправными, чѣм они, а несчастными уже до послѣдняго предѣла, во всѣх смыслах. Меня то и дѣло охватывало в тѣ константинопольскіе дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мнѣ от всего пережитаго в Россіи за три послѣдних года. Но матеріальное положеніе наше не внушало радости: и мнѣ и Н. П. Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополѣ, надо было искать прочнаго прибѣжища и

средств к существованію в какой-нибудь славянской странѣ, — в Софіи, в Бѣлградѣ, в Прагѣ, — гдѣ эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и перваго поѣзда, — они были тогда еще очень рѣдки послѣ всѣх тѣх разрушеній, что произвела четырехлѣтняя война и в Европѣ, и на Балканах, — мы уѣхали из Константинополя в Софію. Я имѣл оффиціальное порученіе устно освѣдомить нашего посла в Бѣлградѣ о положеніи наших дѣл и на фронтѣ и в тылу одесской области, должен был поэтому посѣтить и Бѣлград, — это давало мнѣ к тому же надежду как нибудь устроиться там, — но по пути в Бѣлград мы с женой прожили почти три недѣли в Софіи. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Черном морѣ, было тоже чудом.

Болгарія была оккупирована тогда французами и потому русских бѣженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софіи многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселил там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных, заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось — для меня — вот чѣм. За нѣсколько дней до нашего отъѣзда из Софіи я был, в числѣ нѣкоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и там просидѣл почти до разсвѣта, — ни хозяин, ни военный болгарскій министр, бывшій в числѣ приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избыткѣ дружеских чувств:

— Арестую, если вздумаете уходить!

Так и вернулся я домой, — только на разсвѣтѣ и не совсѣм трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцію Рысса, человѣка очень обидчиваго, и что лекція эта должна была начаться в девять утра, — в Софіи публичныя лекціи, доклады часто бывали по утрам. Желая подѣлиться с женой своим горем, я перебѣжал из своего номера в ея, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой — и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось все наше достояніе, был раскрыт и ограблен до тла, — на полу было разбросано только то, что не имѣло никакой цѣнности, — так что мы оказались уже вполнѣ нищими, в положеніи совершенно отчаянном. Замки чемодана были рѣдкіе, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотрѣть, который час, — я благоразумно не взял его вчера с собой, зная, что мнѣ придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной и пустынной Софіи, — и, посмотрѣв, бросил чемодан не запертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с котораго, разумѣется, исчез и он. Однако, судьба оказалась ко мнѣ удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от вѣрной смерти, — почти тотчас же послѣ того, как я обнаружил свою полную нищету, кто-то, уж не помню, кто именно, принес нам страшную вѣсть о том, что случилось там, гдѣ должен был читать Рысс: меньше, чѣм за минуту перед его появленіем на эстрадѣ, под

ней взорвалась какая-то «адская машина», и нѣсколько человѣк, сидѣвших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вѣроятно, сидѣл бы и я, — было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполнѣ ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: корридорным в отелѣ был русскій, «большевичек», как всѣ его звали, желтоволосый малый в грязной косовороткѣ и поганом сюртучишкѣ, горничной — его возлюбленная, молчаливая дѣвка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистеріозная», как назвал ее болгарскій сыщик, посланный арестовать и ее, и корридорнаго болгарской полиціей, но французы тотчас вмѣшались в дѣло и приказали его прекратить: нижній этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мнѣ безплатный проѣзд до Бѣлграда в отдѣльном вагонѣ третьяго класса, наиболѣе безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитаніе до Бѣлграда. А в Бѣлградѣ, гдѣ нам пришлось жить в этом вагонѣ возлѣ вокзала на запасных путях, — так был переполнен в ту пору Бѣлград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитаніе даже и то, что подарило мнѣ болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским бѣженцам, только тѣм, что мѣняли тѣ «колокольчики» (деникинскія тысячерублевки), какія еще были у нѣкоторых из нас, на девятьсот динар каждый, мѣняя однако только один «колокольчик. Дѣлом этим вѣдал днязь Григорій Трубецкой, засѣдавшій в нашем посольствѣ. И вот я пошел к нему и попросил его сдѣлать для меня нѣкоторое исключеніе, —

размѣнять не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софіи. Он посмотрѣл на меня и сказал:

— Мнѣ о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

— Так точно, — отвѣтил я.

— А из какой именно вы академіи?

Это было уже издѣвательство. Я отвѣтил, сдерживая себя сколько мог:

— Я не вѣрю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мнѣ.

Он покраснѣл и рѣзко отчеканил:

— Все же никакого исключенія я для вас не сдѣлаю. Имѣю честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волненія, что мог получить еще девятьсот на жену, и вышел из посольства совершенно внѣ себя. Как быть, что дѣлать? Возвращаться в Софію, в этот мерзкій и страшный отель? Я тупо постоял на тротуарѣ и уже хотѣл брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этажѣ посольскаго дома и наш консул окликнул меня:

— Господин Бунин, ко мнѣ только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной, касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

В Парижѣ, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника (умершаго лѣт пятнадцать тому назад), сына той твоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имѣніи которой, в селѣ Васильевском, я подолгу живал многіе годы—

вплоть до нашего бѣгства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на разсвѣтѣ 23 октября 1917 года, вполнѣ разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольнаго праздника. Вот в хронологическом порядкѣ нѣкоторыя выдержки из этих писем, в своем родѣ довольно замѣчательных:

— Лысѣю. Вѣдь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

— Та знаменитая артистка, о которой я тебѣ писал, умерла. Умирая, лежала в почернѣвшей от грязи рубашкѣ, страшная, как скелет, стриженая клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

— Был у старухи княжны Бѣлозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холодѣ, курит махорку.

— Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомаго аптекаря какой-то мази для втиранія в грудь. Раз вышел в нужник, а сосѣд-старичок, слѣдившій за мной, вбѣжал ко мнѣ и стал пожирать эту мазь: вхожу, а он, весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет.

— На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему сосѣду узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встрѣтился с ним лицом к лицу, — тот стоял в дверях. «Скажите, пожалуйста, который час?» Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушел. Что же оказалось? Сосѣд стоял, чуть касаясь ногами пола, в петлѣ: вбил желѣзный костыль в притолоку, захлестнул бичевку... Прибѣжали прочіе

жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменѣвшей рукѣ была зажата записка: «Царствію Ленина не будет конца».

— Из нашей деревни нѣкоторые переселяются в Москву. Пріѣхала Наталья Пальчикова со всѣми своими ведрами, ушатами. Пріѣхала «совсѣм»: в деревнѣ, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящіе разбойники, живорѣзы». Пріѣхала Машка, — помнишь дѣвку из двора Федьки Рыжаго? У нас объявлен к выходу самоѣдскій словарь, скоро будут выходить «Татарскіе классики», но желѣзнодорожное сообщеніе адское. Машка на пересадкѣ в Тулѣ неподвижно просидѣла в ожиданіи московскаго поѣзда на вокзалѣ цѣлых трое суток. Пріѣхала Зинка, дочь Васильевскаго кузнеца. Ѣхала тоже безконечно долго, в страшно тѣсной толпѣ мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидѣл ея мальчик, идіот с головой вродѣ тыквы. В Москвѣ повела его в Художественный театр — смотрѣть «Синюю птицу»...

— Один наш знакомый, очень извѣстный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревнѣ. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем домѣ, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стѣны ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

— Во дворѣ у нас, в полуподвальной дворницкой, живет какой-то краснолицый старик с сѣрой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсѣм новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он

долго таскал его по двору, по снѣгу, ходил по квартирам, хотѣл продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец пріѣхал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! — сказал он. — Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, напримѣр, самое разлюбезное дѣло: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках. Ему сносу не будет!»

— Стали появляться в Москвѣ и другіе наши земляки. На-днях явился наш бывшій садовник: пріѣхал, говорит, «повидаться с своим барином», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не видѣлись, рыжій сорокалѣтній мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлаго старика с блѣдной от сѣдины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, просил устроить его гдѣ-нибудь на мѣсто, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое какого тряпья, дал на обратную дорогу нѣсколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенскій мѣшок, со слезами бормотал: «Теперь я и доѣду и хлѣбушка куплю!» Под вечер ушел с этим мѣшком на вокзал, на прощанье поймал и нѣсколько раз поцѣловал мнѣ руку холодными, мокрыми губами и усами.

— Я был на одном собраніи молодых московских писателей. В комнатѣ холод, освѣщеніе как на глухом полустанкѣ, всѣ курят и лихо харкают на пол. О вас, о писателях эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!»

— Писатель Малашкин, шестипалый, мѣщанин из ефремовскаго уѣзда. Говорит: «Я новый

роман кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихійно, темпераментно!»

— Писатель Романов — мѣщанин из Бѣлевскаго уѣзда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клош», черныя лайковыя перчатки, застегнутыя на всѣ пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Самомнѣніе адское, замыслы грандіозные: «Пишу трилогію «Русь», листов сто будет!» К Европѣ относится брезгливо: «Не поѣду, скучно там...» Писатель Леонов, гостившій у Горькаго за границей, тоже скучал, все говорил: «Гармонь бы мнѣ...»

— Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, «квартирует» в избѣ Красовых, метет и убирает церковь, тѣм и зарабатывает кусок хлѣба. Одѣвается как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто ж ее теперь замуж возьмет? Вѣдь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревнѣ за городом Ефремовым Тульской губерніи, в мужицкой полуразрушенной избѣ, доживал в это время свои послѣдніе дни мой старшій брат Евгеній Алексѣевич Бунин. Когда-то у него было небольшое имѣніе, которое он послѣ мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремовѣ небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мнѣ в Париж свѣдѣнія и о нем:

— Ты, вѣроятно, не знаешь, что Евгенія Алексѣевича выгнали из его дома в Ефремовѣ, теперь он живет в деревнѣ под городом, в мужицкой избѣ с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стѣн несет в метель снѣгом... Живет тѣм, что пишет

портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшаго звонаря и босяка. Васька заставил изобразить себя в цилиндрѣ и во фракѣ, — фрак и цилиндр достались ему при грабежѣ имѣнія ваших родственников Трухачевских, — и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами...

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтическія строки относительно какой-то мистической метели:

«Едва моя невѣста стала моей женой, как лиловые міры первой революціи захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотѣвшій гибели, вовлекся в сѣрый пурпур серебряной Звѣзды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась желѣзная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетѣвшій шквал — цвѣта и запаха опредѣлить не могу».

Этот шквал и был февральской революціей и тут для него опредѣлились наконец цвѣт и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фракѣ:

Древній образ в черной ракѣ,
Перед ней подлец во фракѣ,
В лентах, в звѣздах, в орденах...

Когда «шквал» пришел, фрак достался Васькѣ Жохову, изображенному моим братом не только во фракѣ, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звѣзд, орденов Васька тогда еще не имѣл. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себѣ эту сгнившую, с провалившейся

крышей избу, в которой жил Евгеній Алексѣевич, в щели которой несло в метель снѣгом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолѣпной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо болѣе простую ефремовскую метель и за портреты Васек Жоховых Евгеній Алексѣевич поплатился жизнью: пошел однажды зачѣм-то, — вѣрно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, — в город, в Ефремов, упал по дорогѣ и отдал душу Богу. А другой мой старшій брат, Юлій Алексѣевич, умер в Москвѣ: нищій, изголодавшійся, едва живой тѣлесно и душевно от «цвѣта и запаха новаго шквала», помѣщен был в какую-то богадѣльню «для престарѣлых интеллигентных тружеников», прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Марья Алексѣевна умерла при большевиках от нищеты и чахотки в Ростовѣ на Дону...

Приходили ко мнѣ свѣдѣнія и о Васильевском:

— Я недавно был в Васильевском. Был в домѣ, гдѣ ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населен, как и всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполнѣ дикарская, первобытная, грязь не хуже чѣм на скотном дворѣ. Во всѣх комнатах на полу гніющая солома, на которой спят, попоны, сальныя подушки, горшки, корыта, сор и мирріады блох...

А затѣм пришло уже такое сообщеніе:

— Васильевское и всѣ сосѣднія усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нѣт уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столѣтних берез на валах, ни твоего любимаго стараго клена...

«Вронскій дѣйствует быстро, натиском, заманивает дѣвиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преслѣдует его жену и, наконец, достигает своей цѣли. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, — как она умѣет одѣваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронскаго, как нагло и мило обманывает мужа. — Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утѣшая себя тѣм, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим тѣлом, «изящным, культурным» тѣлом... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мiр Вронскаго и Анны... А вѣдь, граф Толстой даровитый писатель...»

Что это такое? Это примѣр того, до чего договариваются нѣкоторые в предреволюцiонныя и революцiонныя времена. В шестидесятых годах да и в семидесятых не один болван, ненавидѣвшій «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелѣпостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которыя мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, котораго мало было повѣсить на первой осинѣ даже за однѣ только каверзныя кавычки в этих строках? Это писал совсѣм не болван, это писал Алексѣй Сергѣевич Суворин, ставшій впослѣдствіи столь извѣстным, писал в семидесятых годах. Вѣдь даже злѣйшіе враги считали его впослѣдствіи большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусѣ даже восторженно:

«У вас вкус литературный — превосходный, я вѣрю ему как тому, что в небесах есть солнце».

НОБЕЛЕВСКІЕ ДНИ

9 ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, гдѣ я почти безвыѣздно провел цѣлых десять лѣт жизни, тихій, теплый, сѣренькій день поздней осени...

Такіе дни никогда не располагают меня к работѣ. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и послѣ завтрака. Но, поглядѣв в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нѣт, не могу. Нынче в синема дневное представленіе — пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекія Канны, на чуть видное в такіе дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

— Может быть, как раз сейчас, гдѣ-то там, на другом краю Европы, рѣшается и моя судьба...

В синема я однако опять забываю о Стокгольмѣ.

Когда, послѣ антракта, начинается какая-то веселая глупость под названіем «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темнотѣ возлѣ меня какой-то осторожный шум, потом свѣт ручного фонарика и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

— Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь.

Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кромѣ сожалѣнія, что не удалось досмотрѣть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличнаго недовѣрія к тому, что мнѣ сообщили. Но нѣт, не вѣрить нельзя: издали видно, что мой всегда тихій и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освѣщен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью... Какой-то перелом в моей жизни...

Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из котораго что-то отдаленно кричат мнѣ какіе-то разноязычные люди чуть не из всѣх столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новыя и новыя привѣтственныя телеграммы чуть не из всѣх стран міра, — отовсюду, кромѣ Россіи! — и выдерживает первые натиски посѣтителей всякаго рода, фотографов и журналистов... Посѣтители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всѣх сторон жмут мнѣ руки, волнуясь и поспѣшно говоря одно и то же, фотографы ослѣпляют меня магніем, чтобы потом разнести по всему свѣту изображеніе какого-то блѣднаго безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами...

— Как давно вы из Россіи?

— Эмигрант с начала двадцатаго года.

— Думаете ли вы теперь туда возвратиться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русскій писатель, которому присуждена Нобелевская премія за все время ея существованія?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нея отказался?

— Неправда. Премія никогда никому не предлагается, все дѣло присужденія ея проходит всегда в глубочайшей тайнѣ.

— Имѣли ли вы связи и знакомства в Шведской Академіи?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведеніе присуждена вам премія?

— Думаю, что за совокупность всѣх моих произведеній.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числѣ кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многіе лестные отзывы о моих произведеніях таких извѣстных скандинавских критиков, как Böök, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской Академіи, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был увѣрен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премій?

— Ежегодно в одно и то же время: десятаго декабря.

— Так что вы поѣдете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже может быть, раньше: хочется поскорѣе испытать удовольствіе дальней дороги. Вѣдь по своей эмигрантской безправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лѣт

никуда не выѣзжал за границу, лишь один раз ѣздил в Англію. Это для меня, без конца ѣздившаго когда-то по всему міру, было одно из самых больших лишеній.

— Вы уже бывали в скандинавских странах?

— Нѣт, никогда. Совершал, повторяю, многія и далекія путешествія, но все к востоку и к югу, сѣвер же все оставлял на будущее время...

Так неожиданно понесло меня тѣм стремительным потоком, который превратился вскорѣ даже в нѣкоторое подобіе сумасшедшаго существованія: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всѣм тѣм обычным, что ежегодно происходит вокруг каждаго Нобелевскаго лауреата, со мной, в силу необычности моего положенія, то есть, моей принадлежности к той странной Россіи, которая сейчас разсѣяна по всему свѣту, происходило нѣчто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мірѣ: рѣшеніе Стокгольма стало для всей этой Россіи, столь униженной и оскорбленной во всѣх своих чувствах, событіем истинно національным...

В ночь с третьяго на четвертое декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдѣльное купэ перваго класса — сколько уже лѣт не испытывал я чувств, связанных со всѣм этим! Далеко за полночь, мы уже в Германіи. Все стою на площадкѣ вагона, который идет в поѣздѣ послѣдним. И, вырываясь из под вагона, несется назад в блѣдном лунном свѣтѣ нѣчто напоминающее Россію: плоскія равнины, траурно-пестрыя от снѣга, какія-то оснѣженныя деревья...

Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору — окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформѣ, мѣховыя шапки, шубы — как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердцѣ!

Вечером наш поѣзд ставят на пароход «Густав V» и медленно направляют к берегам Швеціи. Снова интервью, снова вспышки магнія... В Швеціи мой вагон буквально осаждается толпой фотографов и журналистов... И только поздней ночью остаюсь я наконец опять один. За окнами чернота и бѣлизна — сплошные черные лѣса в бѣлых глубоких снѣгах. И все это, вмѣстѣ с жарким теплом купе, совсѣм как ночи когда-то на Николаевской дорогѣ...

Раздача премій лауреатам ежегодно происходит всегда десятаго декабря и начинается ровно в пять часов вечера.

В этот день стук в дверь моей спальни раздается рано, с вечера было приказано разбудить меня не позднѣе восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче: день самый главный. На часах всего восем, сѣверное утро едва брезжит, еще горят фонари на набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всѣми своими башнями, церквами и дворцами, тоже имѣющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закатѣ и на разсвѣтѣ. Но я должен начать день нынче рано: десятое декабря — дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндрѣ и ѣхать

за город, на кладбище, гдѣ надо возложить вѣнки и на его могилу и на могилу недавно умершаго племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одѣваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крѣпко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемоніи, которая ждет меня нынче вечером, возбуждает...

Офиціальное приглашеніе на торжество разсылается лауреатам за нѣсколько дней до него. Оно составлено (на французском языкѣ) в полном соотвѣтствіи с той точностью, которой отличаются всѣ шведскіе ритуалы:

— Гг. лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для полученія Нобелевских премій 10 декабря 1933 г., не позднѣе 4 ч. 50 м. дня. Его Величество, в сопровожденіи Королевскаго Дома и всего Двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжествѣ и лично вручить каждому из них надлежащую премію, ровно в 5 ч., послѣ чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество.

Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на двѣ минуты раньше назначеннаго срока на какое-нибудь шведское приглашеніе совершенно недопустимо. Поэтому одѣваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня — из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фрачной рубашки, как любят это дѣлать в подобных случаях всѣ запонки в мірѣ?

В половинѣ пятаго мы ѣдем.

Город в этот вечер особенно блещет огнями, — и в честь лауреатов, и в ознаменованіе близости Рождества и Новаго Года. К громадному «Музыкальному Дому», гдѣ всегда происходит

торжество раздачи премій, течет столь густой и безконечный поток автомобилей, что наш шоффер, молодой гигант в мохнатой мѣховой шапкѣ, с великим трудом пробирается в нем: нас спасает только то, что полиція, при видѣ кортежа лауреатов, которые всегда ѣдут в таких случаях друг за другом, задерживает всѣ прочіе автомобили.

Мы, лауреаты, входим в «Музыкальный Дом», со всей прочей толпою, но в вестибюлѣ нас тотчас от толпы отдѣляют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадном залѣ до нашего появленія на эстрадѣ, я знаю только с чужих слов.

Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цвѣтами и переполнен народом: сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и брилліантах, сотни фраков, звѣзд, орденов, разноцвѣтных лент и всѣх прочих торжественных отличій. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатическій корпус, Шведская Академія, члены Нобелевскаго Комитета и вся эта толпа приглашенных уже на мѣстах и хранят глубокое молчаніе. Ровно в пять герольды с эстрады возвѣщают фанфарами появленіе Монарха. Фанфары уступают мѣсто прекрасным звукам національнаго гимна, льющимся откуда-то сверху, и Монарх входит в сопровожденіи наслѣднаго принца и всѣх прочих членов королевскаго дома. За ним слѣдуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой залѣ, что примыкает к заднему входу на эстраду.

Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы слѣдуем за тѣми из шведских академиков, которые будут представлять нас

и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою рѣчь на банкетѣ послѣ раздачи премій первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду послѣдним. Меня выводит Пер Гальстрем, непремѣнный секретарь Академіи. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством зала и тѣм, что при появленіи с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и сам Монарх со всѣм своим Двором и Домом.

Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цвѣтами. Правую сторону ея занимают кресла академиков. Четыре кресла перваго ряда налѣво предназначены для лауреатов. Надо всѣм этим торжественно-неподвижно свисают со стѣн полотнища шведскаго національнаго флага: обычно украшают эстраду флаги всѣх тѣх стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имѣю я лично, эмигрант? Невозможность вывѣсить для меня флаг совѣтскій заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним, — шведским. Благородная мысль!

Открывает торжество предсѣдатель Нобелевскаго Фонда. Он привѣтствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот цѣликом посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля, — в этом году столѣтіе со дня его рожденія. Затѣм идут доклады, посвященные характеристикѣ каждаго из лауреатов, и послѣ каждаго доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с Нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной сторонѣ которой выбито изображеніе Альфреда Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига.

Григ один из наиболѣе любимых мною композиторов, я с особым наслажденіем услыхал его звуки перед докладом обо мнѣ Пера Гальстрема.

Послѣдняя минута меня взволновала. Рѣчь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мнѣ по французски:

— Иван Алексѣевич Бунин, благоволите сойти в Зал и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премію 1933 года, присужденную вам Шведской Академіей.

В наступившем вслѣд за тѣм глубоком молчаніи я медленно прошел по эстрадѣ и медленно сошел по ея ступеням к Королю, вставшему мнѣ на встрѣчу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыханіе, чтобы слышать, что Он мнѣ скажет и что я Ему отвѣчу. Он привѣтствовал меня и в моем лицѣ всю русскую литературу с особенно милостивым и крѣпким рукопожатіем. Низко склонясь перед Ним, я отвѣтил по французски:

— Государь, я прошу Ваше Величество соблаговолить принять выраженіе моей глубокой и почтительной благодарности.

Слова мои потонули в рукоплесканіях.

Король чествует лауреатов обѣдом в своем дворцѣ на другой день послѣ торжества раздачи премій. Вечером же десятаго декабря, почти тотчас по окончаніи этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевскій Комитет.

На банкетѣ предсѣдательствует кронпринц. Когда мы пріѣзжаем, там уже опять в сборѣ всѣ члены Академіи, весь Королевскій Дом и

двор, дипломатическій корпус, художественный мір Стокгольма и прочіе приглашенные.

К столу идут в первой парѣ кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центрѣ стола.

Мое мѣсто рядом с принцессой Ингрид, — нынѣ она датская королева, — напротив брата короля, принца Евгенія (кстати сказать, извѣстнаго шведскаго художника).

Кронпринц открывает застольныя рѣчи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.

Затѣм наступает черед говорить лауреатам.

Принц говорит со своего мѣста. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубинѣ банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стилѣ.

Радіо-пріемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европѣ.

Вот точный текст той рѣчи, которую произнес я по французски:

— Ваше Высочество, Милостивыя Государыни, Милостивые Государи.

9 ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городѣ, в бѣдном деревенском домѣ, телефон извѣстил меня о рѣшеніи Шведской Академіи. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболѣе сильное впечатлѣніе во всей моей жизни. Справедливо сказал великій философ, что чувства радости, даже самыя рѣзкія, почти ничего не значат по сравненію с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминаніе, я все-таки позволю себѣ сказать, что скорби, испытанныя мною за по-

слѣдніе пятнадцать лѣт, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, — совсѣм нѣт! Однако, твердо могу сказать я и то, что из всѣх радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс, дал мнѣ, как писателю, наиболѣе полное удовлетвореніе. Литературная премія, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увѣнчаніе писательскаго труда! Честолюбіе свойственно почти каждому человѣку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и безпристрастных. Но думал ли я 9 ноября только о себѣ самом? Нѣт, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волненіе от потока первых поздравленій и телеграмм, я в тишинѣ и одиночествѣ ночи думал о глубоком значеніи поступка Шведской Академіи. Впервые со времени учрежденія Нобелевской преміи вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующійся гостепріимством Франціи, по отношенію к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академіи, позвольте мнѣ, оставив в сторонѣ меня лично и мои произведенія, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себѣ. В мірѣ должны существовать области полнѣйшей независимости. Внѣ сомнѣнія, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнѣній, всяческих философских и религіозных вѣрованій. Но есть нѣчто незыблемое, всѣх нас объединяющее: свобода мысли и совѣсти, то, чему мы обязаны цивилизаціей. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксіома. Ваш же жест, господа члены Академіи, еще раз доказал, что лю-

бовь к свободѣ есть настоящій національный культ Швеціи.

— И еще нѣсколько слов — для окончанія этой небольшой рѣчи. Я не с нынѣшняго дня высоко цѣню ваш Королевскій Дом, вашу страну, ваш народ, вашу литратуру. Любовь к искусствам и к литературѣ всегда была традиціей для шведскаго Королевскаго Дома, равно как и для всей благородной націи вашей. Основанная славным воином, шведская династія есть одна из самых славных в мірѣ. Его Величество Король, Король-Рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрѣшить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманіем Шведской Академіи, выразить Ему свои почтительнѣйшія и сердечнѣйшія чувства.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris.